

ОГРОМНЫЙ МИР

СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ



„Поэтические переводы, — пишет Маргарита Алигер, — дело тончайшее, и решительно неизвестно, что надо делать для того, чтобы они удавались...”

Тем не менее можно смело сказать, что предлагаемый читателю сборник избранных переводов Маргариты Иосифовны Алигер (род. в 1915 г.) „Огромный мир” не только подтверждает удивительную тонкость переводческого искусства вообще, но и высокую степень его владения поэтом в частности.

Об авторе глубоко эмоциональных и философски значительных поэтических книг и поэм — „Железная дорога” (1939), „Камни и трава” (1940), „Зоя” (1942), „Лирика” (1943), „Первые приметы” (1948), „Ленинские горы” (1953) и др. — в Краткой литературной энциклопедии, помимо прочего, сказано: „...выступает также как переводчик...” Не сказано только, какой огромный творческий труд кроется за словом „переводчик”, какими душевными качествами он должен обладать, чтобы преодолеть языковой барьер, различия в психологии,

темпераменте, традиционных воззрениях, в пристрастиях к тем или иным художественным формам.

Маргарита Алигер побывала почти во всех странах, чьих поэтов она особенно часто переводит, — во Франции и в Чили, в Болгарии и Румынии.

„Я только теперь поняла поэзию Неруды, ее странные ритмы, — писала Алигер по возвращении из Чили. — Это ритмы океана, ритмы, в которых живет Пабло, ритмы, которые живут в Пабло, которые слышит только он“.

Обращение Маргариты Алигер, поэта ясного стиля, к творчеству Луи Арагона с его усложненной манерой кажется неожиданным. Между тем именно Алигер посчастливилось раскрыть в русском переводе Арагона напряженность и страстность духовных исканий поэта.

В сборник „Огромный мир“ включены также переводы из болгарских, румынских, югославских и турецких поэтов.

Елисавета Багряна, Луи Арагон, Десанка Максимович, Назым Хикмет, Валерий Петров, Пабло Неруда, Михай Бенюк — поэты разных культур, манер, эмоций, стилей. Но всем им присуща высокая гражданственность, которая говорит нам о судьбах их поколений, социализма, искусства.

Этим они близки Маргарите Алигер. Поэтому она их переводит.



М А С Т Е Р А П О Э Т И Ч Е

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,

И. ЗЕНКЕВИЧА, Н. ЛЮБИМОВА

и Б. СЛУЦКОГО

ВЫПУСК 8

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

С К О Г О П Е Р Е В О Д А

ОГРОМНЫЙ МИР

СТИХИ

ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

В ПЕРЕВОДЕ

**МАРГАРИТЫ
АЛИГЕР**

МОСКВА 1968

ПРЕДИСЛОВИЕ АНДРЕЯ ТУРКОВА
РЕДАКТОР ВЫПУСКА НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

7-44
121-122-67

«ЛЮДЯМ НАДО ПОМОГАТЬ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА»

«Поэтические переводы — дело тончайшее, и решительно не известно, что надо делать для того, чтобы они удавались», — пишет Маргарита Алигер, избранные переводы которой представлены в этой книге.

Может быть, объяснить это высказывание можно тем, что Алигер, конечно, больше оригинальный поэт, чем переводчик, и потому не очень вдается в специфические проблемы «чужого» цеха?

Обратимся к истинам, которые считаются прописными. Мы часто повторяем известные слова Гете, что, для того чтобы понять поэта, надо побывать в его стране.

Что ж, Маргарита Алигер побывала, кажется, почти во всех странах, чьих поэтов она особенно часто переводит, — во Франции и Чили, в Болгарии и Румынии.

Но такие путешествия не всегда выручают переводчика.

Сложна жизнь каждого народа, и самоуверенной болтовней выглядит заявление, что за две недели приезжий до тонкости разобрался в ней и что вообще, дескать, ему все было ясно даже без перевода — по улыбкам, взглядам и рукопожатиям.

Неужели целый народ, целая страна с огромным прошлым, со своей оригинальной культурой — такая простенькая вещь, нечто вроде нехитрой музыкальной пиески, которую любой тренькающий на рояле может тут же воспроизвести?!

В музее румынского города Констанцы висит картина известного художника Николае Тоницы «Ворота Османа». Если сначала прочесть название, а потом уже взглянуть на картину, то первая реакция — легкое недоумение: какие же это ворота? Просто что-то вроде калитки в небогатой крестьянской ограде... К чему такая торжественность?!

Что же привлекло, однако, Тоницу, художника в достаточной степени изысканного, к этому сюжету? Мне кажется, что это отнюдь не этнографически-бытовая зарисовка. В картине есть улыбчивое уважение к этому Осману, который чувствует сам себя хозяином и требует к себе уважения, который перед кем откроет ворота, а перед кем и на запоре оставит, — ворота не просто на его землю, а в его жизнь, в его душу. Конечно же, это ворота Османа, и, может быть, даже торжественней: врата...

Можно лететь с почти стокилометровой скоростью по сверкающей дороге, а на самом деле стоять на месте — бусовать перед закрытыми вратами Османа.

Можно сидеть в его доме и все же чувствовать себя за воротами.

Да, все зависит от тебя самого, от твоей открытости навстречу жизни, от твоей непредвзятости, от готовности добросовестно отнестись к тому, что тебе еще непонятно и странно.

«Люdiam надо помогать любить друг друга», — говорит Алигер в своей книге «Возвращение в Чили» по поводу одной частной судьбы.

Мне кажется, эти слова справедливы и в более широком смысле: для людей разных стран и континентов.

Чтобы им повстречаться, узнать, полюбить друг друга, нужно не только и, может быть, даже не столько переплыть или перелетать океаны, сколько преодолеть языковые барьеры, различия в психологии, темпераменте, традиционных воззрениях, в пристрастиях к тем или иным художественным формам.

Выдающийся советский поэт и переводчик Н. А. Заболоцкий писал: «Существуют образы, которые, будучи выражены автором, заставляют читателя плакать, а в буквальном переводе на другой язык вызывают смех. Неужели ты будешь смешить людей там, где им положено проливать слезы?»

У большинства народов траурный цвет — черный, но есть такие народы, для которых траурным цветом является белый; поцелуй на сцене долго казался в некоторых странах верхом неприличия.

Русский читатель не без труда воспринимает свободный стих, получивший за последние десятилетия широкое распространение в Европе и Америке.

Путь Маргариты Алигер к работе над переводом стихов Пабло Неруды в этом смысле весьма поучителен.

Во-первых, ей приходилось слышать весьма скептические отзывы соотечественников поэта о возможности иноязычной интерпретации его стихов. «Этот вопрос чилийцев всегда чрезвычайно занимает и волнует, и они никак не могут занять в нем определенной позиции. С одной стороны, хочется, чтобы их Неруду знали и любили во всем мире, но, с другой стороны, все время хочется настаивать на том, что все равно это невозможно и никому не под силу, что ни на каком языке Пабло Неруда не может звучать так прекрасно, как на родном „кастельяно“».

Во-вторых, сама поэтесса довольно сдержанно относилась к свободному стиху. Слушая декламацию одного из поэтов, она замечает: «... мне нравится слушать испанские стихи, нравятся их твердые, отчетливые ритмы. Как из них, однако, ухитрился произрасти нынешний свободный стих С его полным распадом формы?»

Но путешествие в страну поэта, знакомство с Пабло Нерудой не «в огромных многолюдных залах съездов писателей, в президиумах», как дотоле, а в обстановке его родной природы, будничной жизни заставили Маргариту Алигер многое переосмыслить.

«Как получается такой удивительный дом? — размышляет она, очутившись в жилище поэта. — Его нельзя устроить, он должен сложиться сам собой, как жизнь человека».

Кажется, это писано не только о доме человека, но и о стиле поэта, естественно сложившемся и полностью понятном именно на его родине, начиная с ритмической стороны стихов.

«Я только теперь поняла поэзию Неруды, ее странные ритмы, — признается Алигер. — Это ритмы океана, ритмы, в которых живет Пабло, ритмы, которые живут в Пабло, которые слышит только он».

Прибавим к этому голос иного океана — народа, который тоже отдается в стихах Неруды всем богатством своих ладов, и мы поймем, как привлекательна эта поэзия, «богатая и горькая, яркая и суровая, как Чили», поймем, почему она властно захватила поэта иной страны, иной культуры, иного творческого склада.

Маргарита Алигер писала Неруде о том, как трудно давались ей русские эквиваленты того поэтического строя, каким написаны его стихи, в частности не известная до того

широкому русскому читателю лирика, например «Сто сонетов о любви», которые, как говорит переводчица, «так насыщены воздухом, ветром, музыкой и свежестью Вашего берега, что иные их строки я ощущала почти физически, как соленые брызги на коже, как соленый налет на губах».

Думается, успех М. Алигер в том, что многие строки этих «Сонетов» в русском переводе не только живо воспроизводят своеобразие причудливой обстановки, в которой они создавались, где «свергает море своих восторгов статуи и башни», прихотливые и вместе с тем по-своему обусловленные движения сердца, охваченного страстью, но и не утрачивают глубинной связи с миром окружающей народной жизни.

«Ты из глины, мне знакомой с детства», — обращается поэт к возлюбленной. И эта горькая и сладостная плоть земных, человеческих, житейских тревог временами проступает в «Сонетах» наружу, как суровая основа того холста, на котором вышита история этой необыкновенной любви:

Ты пришла из нищих хижин Юга
из землетрясений и морозов...
...смутный голубь сумерек, копилка
со слезами горестного детства...
Ты — мой бедный Юг, душа моя оттуда...

«Ода поездом Юга» в переводе М. Алигер доносит до нас несомненную экзотичность далекой страны и вместе с тем обжитость ее народом, его сознанием и чувствами. Есть пленительная естественность в уподоблении поезда бегущему в южных зарослях зверьку, потом в соотношении его движения по виадуку с игрой на гитаре, этом народнейшем инструменте Америки, и, наконец, в картине сна

усталого поезда, который вдруг напоминает нам отдых маявшегося рабочего в душном бараке.

Так буквально всякий сюжет становится для Неруды раковинной, в которой ему слышится гул событий, отзвуки миллионов человеческих судеб:

Я люблю,
я все вещи люблю,
и не то чтобы жгучие,
благоуханные,
а всякие разные вещи;
просто так,
потому что
это — наш океан,
твой и мой океан...

«Ода вещам»

О том, как пришла М. Алигер к работе над переводами Пабло Неруды и других его соотечественников-поэтов, рассказано ею в очерках, собранных в книге «Возвращение в Чили». История других ее переводческих пристрастий не так подробно «документирована».

Поэт редко выбирает себе для перевода иноязычного двойника (да и бывают ли такие двойники?!), но, конечно, часто этот выбор определен некоторой близостью заветных мыслей и устремлений.

Обращение Маргариты Алигер, поэта ясного стиля, к творчеству Луи Арагона с его усложненной манерой кажется неожиданным.

А между тем оно увенчалось удачей.

«В редакции журнала «Иностранная литература», — вспоминает исследователь творчества французского поэта А. Исбах, — Маргарита Алигер читала свои переводы стихов

Арагона из книги «Неоконченный роман». Арагона порой не удовлетворяли переводы его стихов, сделанные даже лучшими советскими поэтами, его друзьями. На этот раз переводы понравились Арагону».

Я думаю, что Маргариту Алигер заинтересовали в стихах Арагона напряженность и страстность его духовных исканий, драматическая борьба за подлинные истины века, мужественное признание ошибок, готовность начать сначала. Можно ли объяснить напряженный тонус арагоновской поэзии только трагедией его обманутого народа, познавшего горечь военного поражения и унижительной оккупации?

Да, эта трагедия прошла через сердце поэта. Но даже помимо этого, сам процесс прихода к истине, сопряженный с отказом от иллюзий и предрассудков, больше того, само нормальное течение жизни, ее будничная сторона воспринимаются Арагоном в их острых противоречиях, движущих вперед человеческую мысль и чувство.

Тут при всей разнице творческих манер — явная точка соприкосновения французского поэта и его советской переводчицы.

Маргарита Алигер, дебютировавшая в литературе в конце тридцатых годов книгами «Год рождения» (1938), «Железная дорога» (1939) и «Камни и травы» (1940), была уже тогда замечена читателями и критикой как поэт со своей «особинкой» во взглядах на мир.

«Алигер, — писал один из ее первых критиков, А. К. Тарасенков, — всегда как бы полемизирует с тем довольно широко распространенным в поэзии «методом», когда радость изображается только радужными красками, когда все вокруг рисуется безмятежным и безоблачным... Многокрасочность единого процесса жизни человеческой души и нашего

общества привлекает Алигер... Счастье для поэта — не достигнутая цель, а сам процесс этого достижения» *.

Я привожу этот давний отзыв не только, чтобы отдать дань проницательности критика, но и потому, что он порожден свежим впечатлением от первых книжек Алигер, а не ретроспективным взглядом на них после того, как она стала автором таких поэм, как «Зоя» (1943), удостоенной Государственной премии, и «Твоя победа», многих стихотворных сборников, пьес «Сказка о правде» и «Первый гром».

Было бы несправедливо полностью отнести к поэтессе переведенные ею строки румынки Магды Исанос из стихотворения «Я была далека от людей»:

Но тут пришла народная беда,
заговорила попросту со мною.
И сердце одинокое мое
проснулось и заплакало.

Нет, М. Алигер не была далека от людей и в предвоенную пору своего творчества, не была поэтом с «одиноким сердцем». Но, конечно же, пережитое ею вместе со всей страной в годы войны, голос «народной беды» и народной решимости стократ усилили звучание ее стихов.

Речку звали, как ребенка, — Воря.
Как она была неглубока!
Никакого там большого моря
даже знать не знала та река, —

вспоминает М. Алигер последнее довоенное лето. Это немало и о себе сказано.

* «Новый мир», 1941, № 2.

Счастливое предвоенное лето... Счастливое?

Разве можно было счастье мерить
глубиною подмосковных рек?

Алигер снова и снова возвращается к мысли о масштабах подлинного большого человеческого счастья. Один из таких возвратов и связан у нее с работой над переводами стихов Арагона.

Разные страны, разные биографии... Маргарите Алигер не пришлось, как Арагону, сбрасывать с себя «маскарадный костюм» сюрреализма или другого модного течения. Но есть в душевном опыте Маргариты Алигер нечто, позволяющее ей понять и передать ощущение французского поэта от воображаемой встречи с самим собою, прежним:

На Новом мосту я повстречал,
Присев на одну из щербатых плит,
Напев, что в душе моей отзвучал,
Мечту, что звездой уж мне не горит.

Есть нечто, позволяющее ей передать сложный и драматический облик роста человеческой личности, происходящего — как роды! — в крови и в муках:

Прости мне горечи налет.
Порой, когда душа растет,
Как под косой растет трава,
Мертвы и лживы все слова.

«В то время был я одинок»

Голова на подушке темна, голова на подушке седа.
Верил — первых полсрока, вторые — промаялся люто...
...Ничего не понять бы без ключев испанской земли.
Очень страшно и медленно в нас умирают утопии.

«Разорванные страницы»

Луи Арагон не идеализирует обстоятельств рождения нового — ни в человеческой душе, ни в человеческом обществе. Старый друг Советского Союза, друг и почитатель Маяковского, автор восторженной поэмы «Ура, Урал!», он фиксирует всю пестроту и сложность совершавшегося в нашей стране:

Я знал толкотню и давку меж некрашенных сроду досок,
Знал квартиры, которые делят, как в голод — хлеба кусок...
О черные гроздьи усталости, ярость, грубость, насад,
Что на трамвайных площадках каждый вечер висят!

«Эта жизнь — наша»

Нет, это не «прокоммунистическая пастораль», которой всегда чуждалась Алигер, это голос честного друга, всем сердцем переживающего и наши успехи, и наши печали. И эта черта поэзии Арагона также привлекает к нему Алигер, славящую свою страну как «мир вечных битв, волнений и труда».

В сборник избранных переводов Маргариты Алигер включены также переводы из болгарских, румынских и югославских поэтов, а также поэма Назыма Хикмета «Зоя».

Пишущему эти строки особенно по сердцу переводы из болгарских поэтов — Елисаветы Багряны (чьи стихи в свое время переводила на русский язык еще Марина Цветаева), недавно ушедшего от нас Веселина Ханчева и Валерия Петрова.

Я помню, как мы только что вышли из старинной церкви, стоящей на горе над Софией, и Веселин Ханчев вдруг оживился и с неожиданной для него торопливостью стал показывать нам на крохотный комочек, пугливо запрыгавший среди ветвей: «Смотрите, бельчонок!»

Если бы не его зоркость, мы бы так и не увидели зверька.

Если бы не его пристальность, читатели не заметили бы тысячи прекрасных вещей, которые окружают нас. Поэт Веселин Ханчев увидел их и показал своим друзьям — людям. Показал зеленый хоровод деревьев, звезду, похожую на капельку дождя, которая никак не может скатиться на землю, два облачка, розовеющие в небе, потому что первыми поймали лучи рассвета. И его собственные стихи похожи на такое облачко, отразившее то, что мы еще не видим.

Прежде чем стать одним из популярнейших поэтов Болгарии, Ханчев перепробовал не одну профессию, и работа труда ему также близка и понятна:

Тянут, тянут сети. Мокрый песок.
Тянут, тянут сети. Мокрый канат.
Десять пар рук, десять пар ног.
Вытащат все море, если захотят.

«Тянут сети»

Прекрасно передан здесь в переводе самый ритм работы!

Читатель поэмы Валерия Петрова «Погожей осенью», несомненно, подумает, что автору «Зои», вероятно, была дорога как бы новая встреча с подобной героиней — Надкой, чья молодость и первая любовь так трогательно запечатлены болгарским поэтом в одном из эпизодов его произведения. Но не только этим был вызван живой интерес Алигер к поэме Валерия Петрова. Поэма по-настоящему гражданственна и созвучна таким в известной степени программным для современной советской литературы произведениям, как «За далью — даль» А. Твардовского и «Дневные звезды» Ольги Берггольц. Это страстный монолог человека и худож-

ника, раздумывающего о судьбах своего поколения, социализма, искусства.

Переводческая деятельность Маргариты Алигер — лишь одна сторона ее творческой жизни, но сторона немаловажная, обогащающая нас, читателей, духовную культуру нашей родины.

Пабло Неруда сказал, вернувшись после долгих странствий и обращаясь к своей стране:

и чем больше любил я...
тем ты становилась богаче.

Мне кажется, переводчик тоже может повторить эти слова.

А. Турков

*Между двумя полярными кругами
лежит привольно родина моя.
Экватор — только путь, что по земле проходит,
ее на половины не деля.
Под ярким светом Южного Креста,
на всех долготах и на всех широтах,
земля повсюду — родина моя..*

Магда Исанос

Из французских поэтов

Арагон

(Род. в 1897 г.)

Из книги «Неоконченный роман»

На Новом мосту я повстречал...
Откуда этот мотив зазвучал?
То ль от метро Самаритэн?
То ли с барки, которую ветер качал?

На Новом мосту слонялся слепой,
Без палки, собаки, нагрудной доски...
Бедняги, отвергнутые толпой,
Несчастные, как они мне близки!

На Новом мосту мне встретить пришлось
Мой смутный облик из давних годов.
Глаза его созданы только для слез,
А губы — только для бранных слов.

Я повстречал на Новом мосту
Эту жалкую нищету,
Когда не заботит тебя ничего,
Кроме страдания своего.

На Новом мосту подымается дым...
Я уже видел его весной,
Когда я был совсем молодым,
На давней заре, на опушке лесной.

На Новом мосту мне стало видней
Сходство с собой до рожденья на свет.
О призрак молодости моей!
О робость моих ребяческих лет!

На Новом мосту предо мной возник
Двадцатилетний невольник лжи.
Несчастный! И ложь пронеслась, как миг,
Ты был миражем и любил миражи.

Я юношу встретил на Новом мосту,
Обветренным ртом он песню пел,
В руках своих он держал пустоту
И сам от песни своей хмелел.

На Новом мосту, где звучат вокруг
Буксиров печальные голоса,
Я встретил жонглера, за ловкость рук
Отдавшего сердце и небеса.

На Новом мосту я видал игрока,
Который сжег свою душу сам,
Потеряв ее из виду, как голубка
Между башнями Нотр-Дам.

На Новом мосту повстречался мне
Мой призрак в начале моем, вдалеке:

Вниз по течению — город в огне,
Песня смолкает — вверх по реке.

На Новом мосту, у тихой реки,
Мне какой-то малыш указал вперед,
И я увидел из-под руки,
Как солнце пятнает зеркало вод.

На Новом мосту меня догнал
Мой ближний — я сам в обличье ином —
И, озаренный закатным огнем,
«Товарищ», — тихо он мне сказал.

На Новом мосту я узнал на миг
Тебя, легкомысленный мой двойник.
И стоял я — уйти мне было невмочь —
В своей тени, отступающей прочь.

На Новом мосту я повстречал,
Присев на одну из щербатых плит,
Напев, что в душе моей отзвучал,
Мечту, что звездой уж мне не горит.

Я встретил слепца, я встретил слепца...
Вчерашний мой день, мне тебя не жаль!
Ты мимо прошел, не подняв лица,
По Новому мосту вдаль...

ЧАРЫ МОЛОДОСТИ

Юноша! Время перед тобой как вздыбленный жеребец
Тот, кто за гриву его схватил и обуздать спешит,

Слышит отныне один лишь звук — цокот его копыт,
Забывая и думать в пылу борьбы, какой его ждет конец.

Юноша! Пышно накрытый стол — время перед тобой,
До срока будит в тебе аппетит. Что выбрать? Всего полно!
И скатерть бела, как утренний снег, и страшно пролить
вино.
Страшно — окончится свадебный пир и грянет жестокий
бой.

Чередованьем весен и зим время нельзя измерять.
Тот, кто не понял это, — старик, глядящий назад из тьмы.
В чередованьи весен и зим, как пыль, теряемся мы.
Листва возвращается каждой весной укрыть горизонт
опять.

Как много времени впереди, юноши, как в обрез!
К чему говорить об этом таким стершимся языком?
Примите все это просто, как припев, что давно знаком,
Как женское «навсегда», как безграничность небес.

Детство... Однажды вечером вы толкнули калитку в сад
И вот следите с порога за росчерками стрижей
И словно в руках ощущаете огромность Вселенной всей
И силу свою беспредельную, не знающую преград.

Откройте же шире глаза и запомните этот миг.
Я слышу ваш смех — как радуется этот чудесный вид!
В том смехе и в шуме ваших шагов отзвук былого звучит,
И снова возглас в игре в боевой превращается крик.

А потом обладанье первое... Как полная силы рука,
Поднимается радость, подобная мосту через поток.
И ликующее напряженье, испытанья высокой ток.
И от нового звука голоса ночь по-новому глубока.

А наутро узнать себя в зеркале ты бы не смог.
Скоро жизнь за свое возьмется, но пока на улицах тень,
Но пока в остатках тумана трепещет вчерашний день,
Ветерок обращает в бегство вчерашней газеты клочок.

Этот час озаряет предметы и тебе их в дар отдает.
В этот час твое каждое слово заполняет весь мир,
в этот час
Все идущие мимо женщины, как она, не подкрасили глаз...
Погляди, как светло и влюбленно день навстречу тебе идет.

В глазах у юношей горит
И пляшет огонек.
Опасность нас всегда бодрит.
Прилив всегда высок.
Всегда вы тянете билет,
Надеясь всякий раз.
Но выигрыш — всего букет,
А проигрыш — матрас.
Всегда в тумане небеса.
Глядите, фокус удался!
Пасуй скорей иль банк удвой.
Но ты вовек не скажешь: стой!

Они лишь гораздо позже узнают, как дорог тот час.
Я все вспоминаю его ускользящий аромат.

О восхищенное сердце, вновь тебя обретает мой взгляд.
Я юность свою вспоминаю, юноши, глядя на вас.
Я вспоминаю...

ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ

И тут я изменяю метр, затем чтоб горечь разогнать.
Все вещи таковы, как есть, и, право, не в деталях суть,
Погоду делать человек научится когда-нибудь.
Я — господин своим словам — гоню, не мешкая ничуть,
Слова, что счастья не сулят, которого посмертно ждать.

Сегодня солнце вобрало все солнца южных берегов.
Совсем поблекла акварель под ветрами игры в маджонг.
Гудит дорога, словно шмель, и небо сотрясает гонг.
Мне нравится, чтоб ритм стиха вытягивался, как шезлонг.
И скакуны меняют шаг согласно воле ездоков.

Мне нравится услышать вдруг мужской руки прямой удар,
Творящий сваю из бревна, обтесывающий гранит.
Мне нравится, что лает пес, с горы тележка дребезжит,
И рыжий цвет двускатных крыш, и в час, когда закат горит,
Оранжеви на холме охватывающий пожар.

Высокий и прямой камыш — как бы в кувшинах он растет,
И утро красит в алый цвет ограды, землю, край стены...
Неприодетые дома стоят, поднявши зонт сосны,

И льется до-ре-ми-фа- соль с многоэтажной вышины,
И голуби взмывают с крыш в свой перламутровый полет.

И море, море впереди, вдали, и взгляд спешит туда,
Где начинается роман, который люди не прочтут.
Как вехи, след своих шагов роняет осень там и тут.
Любовники пройдут легко, и пусть другие не найдут
Тот домик с лестницей крутой, кустами скрытый
навсегда.

Потом туманы синих гор пронзает ястребиный взгляд,
И в белом пламени вдали ты видишь плечи ледника,
В той глубине, где обнялись навек земля и облака.
Гляжу на Альпы, и волос касается моя рука.
Оливы в этот час шумят, изнанку листьев не таят.

Платан тасует на ветру колоду карт своей листвы.
Он приглашает вас в игру, влюбленные в тени аллей.
Друг друга вам не разлюбить, хотя под утро холодней.
Какие сроки виноград вам кажет пятерней своей?
О чем вам пальмы говорят? Их понимаете ли вы?

Вот эту пару видел я за городом в закатный час.
Машина наша пронеслась, вокруг Ниццы сделав полный
круг.

Под нами город лиловел. Я двух детей увидел вдруг.
Как пред огромным полотном, стоят, не разнимая рук,
Над Ниццей. Поглядеть на них охотно встал бы я
тотчас.

Не отличало их ничто от остальных влюбленных пар.
Они одни, они молчат, они мечтают без конца,

Стоят, почти не шевелясь, и слушают свои сердца.
Вокруг пустынно, ветерок легко касается лица.
Машина, не замедлив ход, вдруг выхватила светом фар

Весь в суете и толчее Лазурный берег в этот миг,
Велосипеды, и цветы, и женский крик, и шум, и гам,
Взамен распятий у дорог бензоколонки по углам,
Агентств торговых и контор убогий и бумажный хлам —
Все перевернуто вверх дном, неразбериха, шум и крик.

Цукаты, чайные, кафе и люди, люди всех мастей.
Во что поверили они, и кто в расчетах им помог?
Юнцы с глазами хищных птиц стоят картинно у дорог.
Откуда убежал толстяк, который словно бы продрог?
Мчат из Каира в Роттердам Робер-Макэры наших дней.

И Мирамар и Беллавист с их языком во вкусе шлюх,
Какие пошлые дворцы, лазурь балконов и колонн,
Бомонд, звонком зовущий слуг, где действует один
закон:
Перекупить, перепродать — казалось, все осилил он,
Но вот я встретил двух детей — и этот нищий мир
потух.

И вместе с ним погасла ночь, ее пустой и наглый свет.
Но это место навсегда осталось в сердце у меня.
Предместье. Белые дома. Те двое. Сумерки. Скамья.
Сплетенье рук, молчанье губ... Им вечно буду верен я.
И губы сжатые хранят молчанье, как обет.

* * *

Маргарита, Мадлена, Мари...
На холодные стекла дышу,
Имена ваши пальцем пишу.
Три сестры — как положено, три.

Пригласили на бал трех сестер,
Был у каждой наряд хоть куда!
Это платье — морская вода,
Это — ветер, то — звездный простор.

Мне покажут в предутренний час,
А иначе уснуть мне невмочь,
Башмачки, что плясали всю ночь
Вальсы венские и па-де-грас.

Маргарита, Мадлена, Мари...
До чего же одна хороша!
У другой веселится душа,
Ну а третья грустит до зари.

Я сопутствую сестрам, я тут!
Ах, какие в Сен-Сире балы!
У военных перчатки белы.
Вам бокалы они подают.

В трех сестер, словно в трех Сандрильон,
Ты влюбился, безусый Сен-Сир.
Пылкий принц! Эту ночь, этот пир
Завершит, как всегда, котильон.

Жизнь промчится, и бал пролетит.
Ты считал их длиннее вчера?
И растреплются косы с утра
У Мадлены, Мари, Маргерит...

* * *

Вечерние одежды на рассвете
Мы сбрасываем на пол без усилий.
Они живут, как тени на паркете,

Как радости, которые скосили,
Как мимы, вновь идущие на сцену,
Как призраки, что память населили.

Мы проводили первой в путь Мадлену.
Я бегал по аптекам целый день.
Палило солнце необыкновенно.

И вот передо мной пустой больничный двор
И акушер в халате у порога.
Наш сбивчивый бессвязный разговор...

Я бормочу: лекарство... ради бога...
Возьмите, доктор... Он молчит в ответ.
Мадлена умерла... Я опоздал немного.

Ребенок будет жить... Мадлены нет.
Такая редкость в наши дни флебит!..
Я не спускаю глаз с его штиблет.

Он, видимо, спокойствие хранит
Затем, что впрямь спасти ее не мог.
«Редчайший случай!» — снова он твердит.

И прячу я ненужный пузырек.
Как краденый, в карман широких брюк.
Вот я стою... Бульвар пронзительно убог.

И кажется рисунком все вокруг.
Все конечно... Поверь в жестокие слова...
А то и впрямь ты задохнешься вдруг.

Желтеет в городской пыли листва...
Ей было сорок? Может быть... Ну да!
В деревьях Сена движется едва...

Как хороша была она тогда,
В Фонтенбло... Подумай о другом.
Вся наша жизнь — проточная вода.

Она несет, несет нас... А потом
Выбрасывает тех, кто утонул,
И мы их по глазам закрытым узнаем.

На кладбище моем стоит неясный гул.
Там наступает ночь на долгий-долгий срок.
Уж кое-кто в холсты добычу завернул...

Все прибывает мрак, он грозен и высок.
Вот нас уже зима обидным снегом бьет,
Но память все еще стучит тебе в висок.

Мы створчатую дверь навесили в тот год
Меж комнатами... Там теперь жилица,
По вечерам там граммофон поет,

А женщина лежит, не шевелится,
Усталыми глазами без огней
Бог знает на кого глядит не наглядится.

Какие драгоценности на ней,
Хрустальные, большие, словно пробки!
Она в жару и дышит все трудней.

Мне жаль ее... Я маленький и робкий.
Ей ворот расстегну... В награду всякий раз
Я получу лукум из шелковой коробки.

О золото вокруг сетчатки глаз
И голос из ночей Шахерезады!..
— На что она тебе, восточная, сдалась? —

Мне говорит Мари не без досады.
Ответить? Как? Без падающих звезд?
Без радуги, которой люди рады?

— Все у нее торчишь... Уж очень ты не прост.
Что выйдет из тебя, сама не понимаю.
Несносный мальчик! Что за трудный рост! —

Ворчит Мари, цветы за дверью поливая.
— Какой ты бледный. Шел бы погулять. —
Я выхожу. Все та же мостовая...

Фиакры мимо катятся опять...
Велосипеды я все те же вижу...
Я маленький, еще мне только пять,

Но улицу Карно я ненавижу.
Но лучше ль Гранд-арме или Ваграм?
Нет, госпожу свою я предпочту Парижу.

Как хорошо бывало с нею нам
Листать ее турецкие альбомы.
Я вижу, лампа загорелась там.

Стучали ставни, запирались дома,
И голубой цветок на газовый рожок
Приладил человек какой-то незнакомый.

Своих желаний я осуществить не мог,
Мне с дочкой прачкиной играть не разрешали,
А как хотелось... Ни за что, сынок!

С такой вульгарной? Если нет рояля,
То это неизбежно все равно.
Ведь ей же «Колыбельной» не играли
Гуно.

* * *

На небе суета, как на большой охоте,
Несутся облака, меняясь на ходу.
Седой стрелок стал деревом в полете.

Конь взвился на дыбы, конь рвет свою узду.
Репейник с птицами играет упоенно
В пятнашки, кошки-мышки, чехарду.

Лоскутья, перья, пряди, веретена
И короли в палящем блеске лат.
Идет сраженье. Падает корона.

Виденья мимолетные летят,
Под ветрами меняясь непрестанно.
Лазурью замки ветхие сквозят.

И виноградари идут за край тумана
С корзинами на спинах... И урод
Нас повторяет тщательно и странно.

И это молоко прокиснет ведь вот-вот
От ничего не значащего спора.
Рисунок детский... Дым над крышей... Кот...

Но что случилось с солнцем? Что так скоро
Исчезли обезьяны и слоны
И лебеди покинули озера?

В глубоких зеркалах мне больше не видны,
Как в сказочные дни, невольники в галере.
Споткнулся я о злой порог войны.
Ни следа не осталось от феерий.

Я вспоминаю...

* * *

В то время был я одинок.
Жить — значило твердить урок.
Учения великий пост
Сводил всю ночь к названьям звезд,
Весь мир мой формулу имел.
О черный грифель, белый мел!
Другие гибли под Вими,
А я учился, черт возьми!

Я препарировал людей,
А Терамены наших дней
В цветистых росказнях своих
В скульптуры превращали их.
Постылый треск красивых слов.
Шли Ипполиты всех полков
Известность получать в бою,
А я — стипендию свою.

Прости мне горечи налет.
Порой, когда душа растет,
Как под косою растет трава,
Мертвы и лживы все слова.
И чем, как не мечтой, скажи,
Мы возразить могли бы лжи,
Когда весь мир был окружен
Предательством со всех сторон.

С изнанки увидали мы
Войну в дни третьей той зимы.
Как смертнику, бокал вина

Не нынче ль нам подаст она?
Уже у неба вкус земли,
Поскольку мы лежим в пыли,
Мертвы, хотя не скрыты в гроб,
Но всем надеждам — пуля в лоб.

Как верить тем, кто учит нас?
Я сам касался ран не раз.
Последний трепет я видал,
Глаза любимым закрывал.
Худой ребенок в двадцать лет,
В мундире, не в трактире, нет,
В своей казарме я сидел,
Вовсю мечтал и мало ел.

Навек запомню, как со мной
В тот год прощался город мой.
Париж, как был прекрасен ты,
Твои аллеи и мосты!
Стихи парижских вечеров
Я, как Рембо, твердить готов.
И Башня — музыка вдали,
И вы, конюшие Марли.

Прощайте, рощи и сады,
Хранящие мои следы.
Я уезжаю, я в пути.
Каштанам без меня цвести.
Но сердце поймано в силки,
Оно осталось у реки,
Где пирса длинного гранит
Над светлой быстринной не спит.

Я еду, очевидно, в бой.
Прощай, Париж, театр большой,
Пасси, высокий виадук
И все, что вижу я вокруг.
Два берега, как два коня,
Бегут куда-то от меня.
Прощай, дворец Трокадеро,
Сверкающий червяк метро.

Подходит час метаморфоз.
На фронт уходит паровоз.
И на запястье у меня
Жетон качается, звеня.
Я поначалу услышал,
Как гул орудий нарастал.
Наш поезд армиям своим
Вез пополненье, песни, дым.

Вот наконец район стрельбы.
Кружится колесо судьбы.
Тут с неба падает металл.
Жить — значит бить, и наповал.
Ты слышишь, как летит снаряд.
Горит мифический закат.
Из рваных недр земли возник
Распаханного тела крик.

Твои глаза, твой нос, твой рот
Там самый воздух изгрызет.
Ты глубиной своей груди
Поймешь угрозу впереди.
— Тревога! Осторожно! Газ!

Срывай скорее маску фраз,
Пусть сквозь идей твоих туман
Лицо проглянет без румян.

* * *

Садовники просеивают кости,
Лужайки меж могилами копая.
Под камнями Арраса — наши гости

Лежат навек, сыны другого края.
Меж них мой дядя. Слышно ли в могилах,
Как соловей поет в начале мая?

Меж ними и меж теми, кто любил их,
Ла-Манш грустит и плачет без ответа,
Соединить два берега не в силах.

О запах Африки на кладбище Лоретта!
Там крепко спят солдаты из Марокко.
На них забвенье, как бурнус, надето.

Уже песками раны засосало,
И оборвались жалобы до срока.
А пальм в Па-де-Кале и нет и не бывало.

Дыханье черных вин с утра встает высоко.
И ветер давит ягоды ногами,
И, словно кровью, ноги пахнут соком.

Покойтесь под высокими крестами
В полях разграбленных, непрошенные гости,
Уложенные, убранные нами.

Мы привели в порядок ваши кости.
О призраки, покойтесь, отдыхайте
Под плитами, в могилах, на погосте.

Отныне вновь сердец не разбивайте,
У очагов местечка не просите,
Под окнами ночами не вздыхайте.

Детей, идущих в школу, не ловите,
Живых не троньте — сладок теплый сон их.
Дыханьем ледяным их не будите.

Не спугивайте легкий шаг влюбленных,
Ночные тени, птичьи голоса.
Пусть скроет пары тень деревьев зеленых.

Пусть на могиле травы и роса,
Мох и покой... Опять цветут сады,
И снова поднимаются леса.

У миртов есть цветы, у лавров есть плоды.
О счастье, браконьер, ловушки ставь скорей!
Владеют мирты языком звезды,

Всю ночь они ведут беседы с ней,
И ваш грядущий день я в муках предрекаю.
Стал глубже океан, и парус стал белей,

И благо тем светлей, чем зло черней.
Я вспоминаю.

* * *

Итак, через Велль опять
Наш пролегает путь.
Свежих ровов не пересчитать,
В лица мертвым не заглянуть.
Может, я их смогу узнать?
Эшелон, помедли чуть-чуть!

Вот этот... Его я знал.
Он, когда загремел гром,
На своей окарине играл
На посту сторожевом.
Смерть сразила его наповал
В сумасшедшем разбеге своем.

Помню хрупкого малыша.
На колени он встал у воды.
Улетела его душа,
Как из клетки, в иные сады.
Мы у зарослей камыша
Набрили на его следы.

Эта надпись — она о чем?
Я никак не могу понять...
Что ей в имени скромном моем?
Я читаю его опять...
Вот могила моя под холмом.
Кто ее поспешил занять?

Кто он? Я понять не могу...
От того рокового дня

Шесть недель на чужом берегу,
Немоту и покой храня,
Он лежит, упав на бегу,
Тот, убитый вместо меня.

* * *

Лежит бутылка у креста, а в ней торчит письмо ко мне.
Я так и не могу понять, все это было или нет.
Но если я и впрямь убит, но если это все не бред,
Выходит, вымысел и ложь — события прожитых мной лет,
Вся эта адская игра мне лишь привиделась во сне.

Но как тогда мне объяснить происходящее вокруг,
Всю жизнь мою и весь мой мир, — я им ответа не найду.
Иль это только ловкость рук, жонглерство, фокусы в аду?
Я умер в августовский день в том восемнадцатом году.
Уж скоро тридцать восемь лет, как жизнь моя прервалась
вдруг.

И, значит, не было солдат, верхом въезжающих в трактир,
Приветствующей их толпы, ведущей каждого коня,
Танцующих на крыше пар и этой ночи ярче дня
От падающего дождя ракет, бенгальского огня,
И барабаны до зари не возвещали людям мир.

На лесопильне Сент-Одиль, выходит, не было снегов,
И на холодном чердаке не замерзал никто из нас,
У каптенармусов своих мы не видали жадных глаз,
Не видели цветных знамен на улицах твоих, Эльзас,
Обозы наши задержать не вышел Рейн из берегов.

И, значит, не было тебя, немецкий городок Решвогг,
И не было зеленых глаз у девушки в одном окне,
Никто не сочинял стихов, что вслух она читала мне,
Я не сумел поцеловать ее не по своей вине,
Когда мне Шуберта «Форель» она играла, видит бог!

И Саарбрюкен, стало быть, решительно не бастовал,
И офицер не отменял приказа, отданного нам,
И подозрительных людей не арестовывали там,
Оркестр «Волшебного стрелка» не шпарил там по вечерам.
И вовсе не было тебя, убитый у моста капрал.

* * *

Пивная. Немецкое чудо.
Нежнейшие Минна и Линда,
Чьи пухлые лакомки-губки
Казаться грубее хотят.
Они еще очень по-детски
Мурлычут под нос «Августина»,
И мимо идущий прохожий
Насвистывает им в лад.

Ах, Зофиенштрассе... Я помню
Ту комнату с гардеробом,
Поющую в чайнике воду
И лампы опаловый шар.
Подушек расшитые фразы,
И несколько выцветший Беклин,
Распахнутый с милым намеком
Муслиновый пеньюар.

Хозяйка готова к забавам...
О Страсбургская пастушка,
Скульптура Гусятницы Лизы,
Как манит затылочек твой!
Барышня из Саарбрюкена
Охотно спускается к гостю
И за кусок шоколада
Покажет вам фокус любой.

Но мне ли судить ее? Кто я?
От этого скудного счастья
Гость так в чудесах закружился,
Что я не узнал себя в нем.
Отплыть, прощанья и встречи...
Вот так и живут они, люди.
Им светят всю жизнь поцелуи
Давно отгоревшим огнем.

Менялись холсты декораций,
Менялись тела и постели...
Напрасно! Себя предавая,
По-прежнему все это я.
И рву свое тело на части
И тень свою вновь раздеваю,
В объятиях девочек новых
Их родина манит моя.

Неверное, доброе, злое,
Тяжелое, легкое сердце,
Что делать с ночами и днями?
Как мало досуга для дум!
И нет ни любви и ни дома,

И где бы я ни жил на свете,
Везде прохожу я, как ропот,
Везде затихаю, как шум.

А то безрассудное время
Воздушные строило замки,
Волков за собак принимало
И мертвых сажало за стол.
И все непрестанно менялось
В той странно запутанной пьесе,
И я ничего в ней не понял
И роль свою плохо провел.

А в королевском квартале,
От наших казарм недалеко,
Мне груди хорошенькой Лолы
Казались люцерны пышной.
У ней было сердце касатки,
И на диване в борделе,
Под кашель и хрип пианолы,
Охотно ложился я с ней.

Была эта Лола брюнеткой,
Но светлую и белотелой,
По будням и по воскресеньям
Свободно распахнута всем,
Смотрела фарфоровым взглядом,
Отважно и честно трудилась,
Ждала батарейца из Майнца,
А он не вернулся совсем.

Но есть и другие солдаты,
И штатские тоже заходят.
Подкрашивай, Лола, ресницы,
Ведь ты уже скоро уйдешь.
Еще одна рюмка ликера...
Это случилось в апреле:
Какой-то драгун на рассвете
Всадил тебе в сердце нож.

А дикие гуси летели
В то утро по серому небу
И громко кричали о смерти,
И я их увидел в окне.
Их песня пронзила мне душу.
И почему-то стихами
Рейнер Мариа Рильке
Она показалась мне.

* * *

Обо всем напрямик, безо всяких прикрас,
О друзьях, о любвях говорить я готов.
Лики мира, раскрыть бы мне вас
В озареньи двадцатых годов...

Я бы вспомнил тебя, позабытый маршрут.
Сколько памятных знаков в себе ты хранишь!
Лишь ступи — и шаги поведут
Через тот позабытый Париж.

От конца до конца, через город и ночь,
Сквозь себя этот путь нас привел бы к заре,

Запыхавшихся так, что невмочь,
Проигравших в своей же игре,

Научившихся бранью на брань отвечать,
Предлагая взамен философий мечты,
Там, где люди старались молчать,
Накричавшись до хрипоты.

О неистовый мир из соломы и слов!
Не могу разобраться, где жизнь и где бред.
Столько вредных дурных сорняков
На пути, где оставил я след.

Это время — его не понять уже мне.
Цели нет у того, кто не видит огня.
Память — пепел и тень на стене,
Тень, которая дразнит меня.

К этим первым часам обращаю я взгляд:
Сумасшедшие жесты, неистовый крик,
Сумасшедшего света каскад.
Кем же впрямь были мы в этот миг?

Вижу вас, о друзья этих памятных дней!
Сколько раз между нами гремела гроза,
Но дрожит моя память, и в ней
Сохраняются ваши глаза.

Мы, как хлеб, меж собой разделили рассвет.
Ах, какая весна была! Утро земли!
Правота и ошибки тех лет
Это утро затмить не могли.

Примем просто события, преобразавшие нас.
Гаснет ненависть, бурям проходит пора.
Проясняется небо в свой час.
За ночами приходят утра.

Даже если все это вас только смешит,
День грядущий судьбу нам готовит одну.
Он навеки рассказы хранит
Про минувшую нашу весну.

СЛОВО „ЖИЗНЬ“

Я слышу — теплый летний дождь полощет ивам волоса.
То будят, то наводят сон серебряные голоса.
Далекий дом моей мечты, дом в птичьих криках,
где ты?

Я спутал завтра и вчера, как будто тело и трико.
У ночи пара мягких лап, и память видит далеко,
Так ясно, будто бы в воде отражены предметы.

Как будто свет воскресных дней один остался от
недель,
Сады далеких детских лет ветвями раздвигают хмель
И юноше свой изумруд показывает море.

Жестокий августовский зной не колыхнется над тобой,
Но ты не думаешь о нем, перед тобой раскрытый том —
Читаешь Гете в первый раз, в траве, на косогоре.

Вот вдоль канала ты идешь в густой каштановой тиши,
Давя каштанов кожуру. Вокруг ни звука, ни души.
Лишь пьют алжирское вино бурлаки у плотины.

Глухой деревяней ты идешь. Глядит, примолкнув, молодежь.
И запах пива и муки стоит в харчевне у реки,
И пахнут прачечной белья суровые холстины.

В чем смысл жизни? Ты куда, грызя черешни на ходу?
В Сольес? Но девушки тебе знак не дадут — мол, жди
в саду.
И лошади той не видать, что норию вертела.

Ты даму в желтом вспомнить рад. В качалке, взятой
напрокат,
Она качалась, ты стоял, и наконец-то руку взял,
Как город, штурмом, и на ней колечко заблестело.

Ты вспоминаешь или нет умершую в семнадцать лет?
Она была бледна, как мел. Отец весь день над ней сидел.
Тебе осталось — навсегда убраться, как чужому.

В чем смысл жизни? Может быть, так ящерицы могут
жить?
Не только в Моцарте ведь суть. Пошлете сердце
в дальний путь,
Но не заставите его забиться по-иному.

Со всех сторон грозят враги, но ты идешь назло врагам.
«Друзьям природы» вопреки, Тироль, прошел ты по снегам.
По горизонту небеса атели безрассудно.

Над Австрией самоубийц — как перед бурей черных птиц.
Карманы и душа пусты, но вот в Берлин приходишь ты,
Живешь там у зеленщика бессмысленно и скудно.

О, этот город был в тот год, как остров в сердце
страшных вод.
Когда бы не было вокруг опасностей, акул и вьюг,
Морские острова чудес не знаю чем бы стали.

Ах, в сентябре Шарлоттенбург! Ах, наш берлинский
Монпарнас!

Мы проводили вечера, беседуя в тени террас.
Американские друзья, о них вы вспоминали?

Быть может, Иерусалим? Вот-вот Самсон обрушит храм.
У каждой станции метро народ толпится тут и там,
И пивом горечи людской дома полны до края.

Вдруг — в муравейнике огонь или в курятнике лиса —
Полиция рванулась с мест, сирен завывли голоса.
Нет, человеку во плоти ужасна жизнь такая.

В ней есть какой-то зуб больной — вокруг него гнездится
гной.

И ясно видит разум твой, что ограничен он стеной.
Чтобы уйти от этих мук, куда податься надо?

Домой вернуться? Где твой дом? Скорей уехать? Но куда?
На Белой площади друзья в картишки режутся всегда
И говорят, что есть у них союзники из ада.

В чем смысл жизни ты найдешь? И где в нем правда, где
в нем ложь?

В чем смысл жизни, наконец? В противоречьях без конца!
Прохожие на мостовой... Взгляд... Выражение лица...
Как будто бесконечный фильм проходит на экране.

Проговорили мы всю ночь. Я с ним поехал на вокзал.
Поль Элюар Париж и жизнь неярким утром покидал.
Мне в этом фильме навсегда запомнилось прощанье.

Прощай, прощай! Вернешься ль ты когда-нибудь
в Сарселль-Сен-Брис?
Твой свежевыкрашенный дом в Итаке ждет тебя, Улисс,
Пока вокруг твоего челна шумят ветра отваги.

От всех тревог, от всех сирен атолловый уведит путь.
О ярмарки! О карусель! Увидишь ли когда-нибудь,
Как герлс Гертруды Гофман перекрещивают шпаги?

Тебе на улице Мартир не увидать зарю в окне.
Не возвращайся в этот мир. Твой город гибнет, он в огне.
Ты был жнецом, бросай же серп, ступай несжатым лугом.

Ты, уезжая, мне сказал: «Я пересудов не хочу
О том, куда и почему...» Я им в ответ захохочу!
Я болтовни не допущу. Я буду верным другом.

О милые мои друзья! Тот красный занавес упал.
Я видел: в небе над мостом огонь бенгальский догорал.
Бежала лодка по реке вперед, в морские дали.

Июль. Ты помнишь ли, Дено, тот бал европейской бедноты.
Влюбленных бедных ты жалел, искавших тщетно темноты.
Четырнадцатое число... Беседа о Нервале.

Он говорил: «Любовь — нарыв, что горло режет пополам».
А из Америки в те дни Ивонна Жорж вернулась к нам
С натруженной песней птиц, летевших издалека.

Эпоха, полная тревог! Ступили мы за твой порог.
Большое сердце всей земли во мраке слышно издали.
Свой дерзкий флаг Абд-эль-Керим возносит над Марокко.

В чем смысл жизни? Был ли он? Иль только вальс да
краковяк?
Откуда этот черный пес? Кругом молчание и мрак.
Куда иду я? Что люблю? Не зеркало ли в раме?

Раскрашивает ставни мир, он весь, Голландия, как ты.
Земля решила хоть зимой передохнуть от вас, цветы.
И я решил взглянуть назад усталыми глазами.

* * *

Падать, падать, падать что есть силы,
Прежде чем достичь своей могилы,
Вновь проделать весь свой длинный путь.
Мне всего одну секунду надо,
Чтобы мир мой строим, как с парада,
Выстроить в мозгу и оглянуть.
Каждый образ мира жилкой бьется
И, как камень в глубине колодца,
Разбивает радугу воды.
Прошлое раздроблено, разбито,
В поединке все, что не забыто,
Солнца спорят с голосом беды.

О туман бесчисленных дыханий,
Тусклые пески существований,
Невесомость пыли и дождей!
Что я выбрал? Что мне вехой служит?
Падаю, бегу, и мозг мой кружит
Нарастанье скорости моей.

* * *

Это только одна сторона истории,
Механика, ясная на первый же взгляд,
Музыка, в которой один только лад.

Здесь не хватает того, что в человеке естественно:
Повседневных движений, свойственных нам,
Забытых шагов, шагов по своим же следам;

Всех молчаний, всех гневов, хранимых в себе,
Пережитых, продуманных, никогда не рассказанных чувств,
Преступлений лелеемых, загнанных внутрь безумств.

Не хватает того, что страшит, когда произносится вслух.
Странной музыки, варварской музыки тут не хватает,
Что как будто бы с весельной лодки, плывущей вдаль,
долетает.

Не хватает того, что потрясает тебя,
Когда ты об этом ежедневно читаешь в газете,
Того, что от нас не зависит и само по себе существует
на свете.

Все те же люди, тот же спор.
Прошли безумства, минул вздор,
Лишь декорации стоят.

Ничтожество, хамов, дур, ворон —
Ты в дом водила всех подряд.
Я будто чтеньем увлечен...
Опять кончается сезон,
Лишь декорации стоят.

Какой сироп ни льют в отвар
И сколько ни меняют яд,
Но слезы превратятся в пар,
Ты исцелишься, схлынет жар,
Лишь декорации стоят.

По тюрьмам в жажде перемен
Тела и души нас влачат.
Стирают месяцы со стен
Следы предательств и измен.
Лишь декорации стоят.

Ломая сердце пополам,
Как хлеб, его скворцам крошат.
Я был неправ, я знаю сам.
Последний уголь светит нам.
Лишь декорации стоят.

ITALIA MEA *

Ты — грезят о тебе в изгнании тополя.
Ты — жалоба, всю жизнь я жил, тебя тая.
Лазурь моей мечты, желанная земля,
Дай мне убежище, Италия моя!

Пойду шагать в ночи по сумрачным холмам.
И там, где спят ветра, присяду в смутный час.
Пускай заря меня застанет там
Готовым выполнить любой ее приказ.

Вот сердце — блудный сын, домой вернулись мы.
Прости, был долог путь — а сил у нас в обрез —
Из блеклой той страны, от тягостной зимы,
От униженных песен и небес.

Безумец, бегавший за циркачами вслед,
У варварских царей сидевший за столом, —
Мать, не пытай, доволен он иль нет,
Он на колени встал, чтобы забыть о том.

Людей забавил юноша сперва,
Не ведая в огне, что это лишь игра,
Что лгут и поцелуи и слова,
Ночь минет, все изменится с утра.

Они еще его потащат за собой
В толпе поставщиков, собак, собачьих слуг,
И он заплатит им своей живой душой,
В которой отзвучит последний чистый звук.

* Италия моя.

Он надоест, его сдадут в багаж.
Проверят иногда — квитанции целы ль?
Он словно василек, засунутый в корсаж, —
Движенье резкое — и он свалился в пыль.

Он будет шляться день-деньской по кабакам.
На свой последний грош он банк метать готов.
Он будет появляться тут и там
С котами пьяными, с подружками котов.

Беги скорей, дворцы и факелы забудь,
Забудь весь этот наглый, пышный свет.
Не выдай, что слышал когда-нибудь
Их смех пустой и их любовный бред.

Но если допустить, что с разрешенья слуг
В те залы бросишь ты последний взгляд,
Пойми молчанье их — ты очень слаб, мой друг,
Ты бледен при свечах, и жалок твой наряд.

Но где я? Три шага с террасы в те сады...
Верона! Запахи цветов клубятся вновь.
Виченца! Я ищу твои следы,
Умершая и вечная любовь.

СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я со своим лицом не свыкся до сих пор.
Прозрачны небеса, и мне и дела нет
До пятен и рубцов — то возраста узор.

Нужны глаза не те для чтения газет.
Не побежишь уже, коль сердце бьется так.
Что миновало? Жизнь. И я — на склоне лет.

Все давит и гнетет. Все нарастает мрак.
Все строже мир. И с каждым днем видней
Пределы сил, труднее каждый шаг.

Я чувствую себя чужим среди людей,
Теряю интерес, не слышу их угроз.
Нет больше для меня лучистых нежных дней.

Весна придет опять, но без метаморфоз,
И мне не принесет сиреневый букет.
Вспоминаньем дышит запах роз.

Мне море не обнять уж до скончанья лет,
И никогда уже мне не вступить с ним в спор,
Ему меня волной не окатить в ответ.

И перестал я с некоторых пор
Спешить навстречу снегу в снегопад,
Всходить на яркие вершины гор.

Пойти вперед, куда глаза глядят,
Я больше не могу, не помня ни о чем,
Не думая, вернусь ли я назад.

Вернусь ли я назад... Дорога в новый дом...
Проторенным путем не шел я никогда.
Смерть впереди, тогда и отдохнем.

Вновь не увидит плуга борозда,
К покою привыкаешь сам собой,
Он затопляет все, как полая вода.

Все выше он, все выше, как прибой,
И горек и высок его раскат,
И даль, как край земли, встает перед тобой.

Покой похож на утро, но стократ
Его прохлада явственней, и в нем
Звезды последней резче аромат.

Все, чем ты жил, зовут уже вчерашним днем,
Но сердце бьется, но звезда горит.
Когда ты с первым справишься огнем

И жар его, как ветер, отшумит,
Волненье стихнет, ты поверишь сам,
Что старый тот напев тобою позабыт.

Не повторить его далеким голосам.
Но я теряю нить... Я стар и одинок.
Я глух и равнодушен к чудесам.

Когда поверишь: перейден порог,
Вновь ощущаешь прежний трепет тот,
Какая-то рука ласкает твой висок...

Из глубины твоей твой новый день встает.

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ НЕ ТОЛЬКО СЛОВО

Боже, до последнего мгновенья...
Сердцем бледным и лишенным сил
Я неотвратимо ощутил,
Став своею собственной тенью,
Что случилось? Все! Я полюбил.
Как еще назвать мое мученье?

Эльза, долгожданная моя!
Стоило тебе лишь оглянуться
И волос беспомощно коснуться,
Я опять рожден и слышу я:
Песни на земле опять поются,
Молодость моя, любовь моя!

Ты сильнее и нежней вина.
Ты, как солнце, окна озаряешь.
Ты мне нежность к жизни возвращаешь —
Голод мучит, жажда вновь сильна.
Проживи-ка жизнь, тогда узнаешь,
Чем еще окончится она.

Это чудо — быть всегда с тобой,
Ветерок вокруг и свет на коже.
Снова ты, и не сдержат мне дрожи,
Как тогда, впервые, — боже мой! —
Задрожал он, на меня похожий,
Человек какой-то молодой.

Свыкнуться, освоиться... Ну нет!
Пусть меня бранят, а я не буду.

Где уж там! Пока привыкнешь к чуду,
Ты сгоришь, и буря смое след.
Пусть душою солнце я забуду,
Если я привыкну видеть свет.

В первый раз твой рот и голос твой.
Вся ты в первый раз в судьбе моей.
От своей вершины до корней
Дерево трепещет всей листвою.
Краем платья — сколько тысяч дней —
Ты меня касаешься впервой.

Выбери тяжелый сочный плод,
Половину выбрось вон гнилую,
Накуси счастливую другую,
И глотай, глотай за годом год.
С середины жизни счет веду я.
Первых тридцать лет — они не в счет.

Я живу на свете от черты,
Где тебя я встретил на дороге,
И меня в заботе и в тревоге
От безумья оградила ты,
Уведя меня на те отроги,
Где встают посева доброты.

Ты всегда лицом к лицу встречала
Жар в крови, смятение, разброд.
Можжевательником на Новый год
Я пылал, и пламя все крепчало.
С губ твоих, как будто с двух высот,
Жизнь моя берет свое начало.

* * *

Ты подняла меня, как камешек на пляже,
Бессмысленный предмет, к чему — никто не скажет.
Как водоросль на морском приборе,
Который, изломав, земле вернуло море,
Как за окном туман, что просит о приюте,
Как беспорядок в утренней каюте,
Объедки после пира в час рассвета,
С подножки пассажир, что без билета,
Ручей, что с поля зря увел плохой хозяин,
Как звери в свете фар, ударившем в глаза им.
Как сторожа ночные утром хмурим.
Как бесконечный сон в тяжелом мраке тюрем.
Смятенье птицы, бьющейся о стены,
След от кольца на пальце в день измены,
Автомобиль, на пустыре забытый ночью,
Письмо любви, разорванное в клочья,
Загар на теле — след исчезнувшего лета,
Взгляд существа, что заблудилось где-то,
Багаж, что на вокзале свален кучей,
Как ставень, хлопающий и скрипучий,
Как ствол, хранящий молнии ожоги,
Как камень на обочине дороги,
Как рев сирены с моря, издалека,
Как боль от яркого кровоподтека,
Как в теле много лет воспоминанье
Про лезвия холодное касанье,
Как лошадь, что из луж старается напиться,
Подушка смятая, когда кошмар приснится,
Гнев против солнца, крики оскорблений
За то, что в мире нету изменений.

Ты в сумраке ночном нашла меня, как слово,
Как пса, что носит знак хозяина другого,
Бродягу — он был рад теплу ночного хлева,
Из прошлого пришел он, полный гнева.

ЭТА ЖИЗНЬ — НАША

В Гендриковом переулке сидели мы за столом.
Сидели мы в общей комнате, толковали о том о сем,
Как будто бы в раме двери сейчас появится он,
Непомерный для нашей мебели, как солнце для окон.

Со смертью обычно свыкаются месяцев через пять.
Все в прошлом. Живому голосу отныне не зазвучать.
Это только уловка памяти, будто он еще слышен нам.
Но когда открывали шкаф и мы различали там
На шнурке висящие галстуки — на секунду каждый из нас
Неотвратимо чувствовал: Маяковский рядом сейчас.

Что б ни делали, о чем бы ни спорили — он курит,
он ходит, он тут.
Чай пьет, карты сдает, и стихи его в пиджачном кармане
поют.

Он потягивается. «По-вашему, это далекий путь?!»
Горизонт за его плечами не измерить, не оглянуть.
Ему нужны глубины морей, чтоб поэма возникала из них,
Колеса, колеса, колеса, чтоб вслух скандировать стих.
Он завтра едет. Куда — не знает. Широко распахнут мир.
Может, в Персию, может, в Перу, в Париж или на
Памир.

Земля для него, как игра в бильярд, и слово — красный шар
Катится по зеленому полю, карамболом — каждый удар.

Увы! Он и вправду уехал в очень далекий путь.
Почему? Узнают ли это люди когда-нибудь?
Спрашивать об этом не надо у тех, кто его любил.
Он клялся вернуться из ада, когда между нами жил.
Это казалось метафорой, одной из красивых фраз,
Но сердце переворачивается, читая это сейчас.
Вернется ли он когда-нибудь? Молчите, прошу вас, о нем.
Нева не вернет медведя, зажатого ладожским льдом.
Он будет всего лишь статуей, площадью в гуле Москвы.
Ветер в пути коснется бронзовой головы.
Птица присядет на руку и песенку пропоет.

Я вижу отчетливо тысяча девятьсот тридцатый год.
Мосторг, едва освещенный, пустые полки в пыли.
Люди глядят на скудный товар, как сквозь туман, издали.
А белые буквы на красных полотнах над головой горят,
Они подымаются над нищетой и о будущем говорят.
И озаренные ярко пылающим кумачом,
Крестьяне, ушедшие от земли, прикидывают, что почем.
А в глубине — драгоценности, хранимые продавцом,
Пять серебряных чайных ложечек излучают неяркий свет,
И снег на полу оставляет печальный и грязный след.

Я знал толкотню и давку меж некрашенных сроду досок,
Знал квартиры, которые делят, как в голод — хлеба кусок,
Коридоры в жестокой ангине, сварливые голоса,
Клопов и перегородки, злобу и примуса.
За что ни хватись — недохватки, чего-то нужного нет,

Булавка и та сокровище, и все это много лет.
О черные гроздя усталости, ярость, грубость, насад,
Что на трамвайных площадках каждый вечер висят!
Зимой башмаки худые пахнут щами — других не найдешь.
Можно пойти на низость из-за пары калош.

Откуда же в скудном свете тех забытых лет
Вдруг совершается чудо, загорается яркий свет?
Когда я впервые почувствовал взгляд человеческих глаз?
Когда от слов незнакомца вздрогнул я в первый раз?
Это было как откровенье, как будто добрая весть,
Ощущенье глухого, узнавшего, что в мире музыка есть,
Немого, внезапно понявшего, что слово его звучит.
Тень для меня наполнилась довшенковским светом в ночи.
Фильм назывался «Земля». Я вспоминаю опять.
Лунный свет был так удивителен, что хотелось только
молчать.

Из-под косынки выбилась волос золотая прядь,
Высокая девушка встала во весь свой рост,
Словно высеченная из камня, поддерживающего мост,
Который летит через реку. Выходит на мост она.
Останавливается, оглядывается, глубоко поражена.
Сколько народу на стройке! Осенний дождь! Днепрогэс!
О плотина великой надежды потоку наперерез!
Это было вчера, а завтра... Беззащитен великий труд.
Сколько боли и сколько мужества! Те же руки тебя
взорвут.
Я припомню, слушая радио, в Ницце через двенадцать лет
Светлый взгляд той каменной девушки, которой на свете
нет,

Подробности всемогущего человеческого труда,
Пожалею с живыми мертвых и потерянные года.

Где найти слова, чтобы выразить то, что владеет мной,
Это чувство, меня пронзающее в непогоду и в зной?
Все, что значу я, все, что делаю, где б я ни был — границы
нет.

Каждый шаг мой тому народу на благо или во вред.
Значит, и моему народу... Бойся, бойся, даже во сне!
Если молот берет штрейкбрехер, он тяжелей вдвойне.
Равнодушные люди смеются, торжества своего не таят.
Им не нравится архитектура, и зодчих они корят.
А те, что тесали камни, клали кабель, тащили канат,
Руки ссаживая до крови, не желая передохнуть...
Проповедники милосердия, в чем вы смеете их упрекнуть?

РАЗОРВАННЫЕ СТРАНИЦЫ

Бесконечные ночи, как вы коротки и длинны!
И в поэме, как в жизни, бывает, не спится ночами.
Ищешь, вертишься, прочь убегаешь, но память стоит за
плечами.

Такова и вся жизнь, все ее пробужденья и сны.

Голова на подушке темна, голова на подушке седа.
Верил — первых полсрока, вторые — промаялся люто.
Как короткие сны, все иллюзии снились минуту,
И ничто, как надежда, не смешило людей никогда.

Не похожа ли наша судьба на войну в Эфиопии?
Что чума победит, разве люди поверить могли?

Ничего не понять бы без ключев испанской земли.
Очень страшно и медленно в нас умирают утопии.

Двадцать лет пронеслось. Я глаза раскрываю. Мадрид.
Убивают кого-то во мраке, стреляя из темных окон.
Дом маркиза Дуэро. Потайной телефон
В глубине опустевшей таинственно долго звонит.

Этой драмы начало мы, любимая, видеть могли.
Только мы не хотели глядеть ее, не хотели поверить ей.
В районе Университета, в милой квартирке своей,
Веселились за завтраком, наблюдая войну издали.

Смерть явилась позднее, однако успев растолочь
Наше благополучие, весь этот маленький лад.
О буфете и кухне позаботился добрый снаряд.
Разворочена крыша. Ничем невозможно помочь.

Чтостряслось с детворой, на панели игравшей в тот
час?
Только вспомню Валенсию, что-то рвется в груди
у меня.
О друзья одной только ночи, друзья одного только дня!
А история всей своей тяжестью по дороге к морю
неслась.

Приходили головорезы, корсары, неведомые герои,
И наихудшее с лучшим сочеталось вновь.
Новые романсеро — золото, фиалки, любовь...
Словно бы солнца упали в ручьи этой странной порою.

Они откроют чемоданы
И все увидят и поймут.

Все стало непреложно ясно.
И тут тебе хватило сил
Сказать мне все, о чем напрасно
Я столько лет тебя просил,

О чем упрямо ты молчала
Такие долгие года.
Ты мне рукою руку сжала,
Открыто, крепко, навсегда.

.

* * *

.
.
.
.

О август сорок четвертого!
Я верил, что доживу!
Что ж, теперь, если хочешь, остановись,
о сердце мое полумертвое.
Я уже видел, небо, твою синеву.

.
.

«Из книги Эльза»

НАСТАНЕТ, ЭЛЬЗА, ДЕНЬ

*Соловей уже свое пропел.
Этот парк отныне слишком мрачен...
Теофиль, Ода X*

Какой зловещий рак меня на части рвет,
Какое чудище в моей таится глубине,
Толчками подымается во мне
И, как чужая музыка, растет?
Мое другое «я», безумный человек,
Не подчиненный мне, похожий на меня.
Величественной песней полон я,
Но должен к твоему приноровить свой бег.

А песне до меня нет дела между тем,
Как воздуху — до штор, огню — до очага,
Вину — до пьяницы, ей кровь недорого,
Как двери с петель, рвет стихи моих поэм.
А песня в темноте орла несет сама
К добыче, в час обедни бьет в набат...
А песня, как пожар, — поля дотла сгорят...
А песня в нищете гнездится, как чума.

Вот тысяча смычков взлетела в вышину,
Затрепетав, — не я им подал знак.

Блестящих замыслов вместилище — мой мрак,
Но, как стекло, во мне разбили тишину.
Вот тысяча смычков взлетела, озверев,
И сразу грянул их бравурных пьес раскат.
Из полночи моей они свой день творят,
Поют открыто тайный мой напев.

Я только эхом стал обвала своего,
И если груз камней, катящихся вослед,
Меня задавит, сердца красный цвет
Не потускнеет, нет, не погасить его.
Мелодия моя останется чуть-чуть,
Моих осколков блеск, моих порывов шквал,
Мой бред, моя весна... И все, что я сказал,
Услышат и поймут когда-нибудь.

Настанет, Эльза, день, мои стихи поймут,
Всю многозвучность их... Короною своей
Ты будешь их носить, даря свой отблеск ей.
Вот почему они меня переживут.
Настанет, Эльза, день, когда поймут меня
При помощи твоих прекрасных ярких глаз.
Как много видишь ты, когда в закатный час
Глядишь в глубины завтрашнего дня!

Сквозь бормотанье, возгласы и бред
В слепых словах моих тогда увидят вновь
Цветенье роз — мою к тебе любовь,
Грядущим дням обещанный расцвет.
Услышат сердца стук — он никогда не гас, —
Под каменной плитой услышат стон,

И будет камень кровью обогрен,
Поймут, что ночь моя творила утра час.

Настанет, Эльза, день, и ты услышишь в нем
Стихи мои из уст, без муки наших дней.
Они пойдут будить трепещущих детей,
Чтоб детям рассказать: любовь была огнем.
Они расскажут им: любовь и жизнь — одно,
И не убьют любовь ни старость, ни года,
Сплетутся две любви, как лозы, навсегда,
И в жилах голубых всегда течет вино.

Настанет, Эльза, день... Я все сказал, что мог.
Мои стихи, пусть судят вас потом.
Но силы есть в руках, в объятии моем,
Не жди, не разомкнется их венок.
Промчалось время роз. Отцвел последний куст.
Но, Эльза, будет день — стихи мои прочтут,
Меж миром и тобой границы не найдут
И статую твою воздвигнут плотью уст.

Из чилийских поэтов

Пабло Неруда

(Род. в 1904 г.)

Из книги «Сто сонетов о любви»

II

Любовь, как долог путь до поцелуя,
как одиноко путнику в дороге!
А поезда все кружат под дождями.
И все еще весна не снизошла в Тальталь.

Но ты и я, любовь моя, мы вместе,
едины от корней и до одежды,
как осень, как вода, как бедра вместе,
едины, вместе, прежде чем отдельно.

Подумать, сколько камня, сколько гальки
река снесла до устья у Бороа;
подумать, сколько поездов и наций

делило тех, кому любить друг друга;
тех, сплавленных с людьми, со всеми в мире,
и с той землей, что создает гвоздики.

V

Не касайся ночи, воздуха рассвета,
только лишь земли, добра да винограда,
яблок, что растут под шелест чистой влаги,
глины и смолы страны твоей душистой.

В Кинчамали мне глаза твои писали,
ноги мне лепили на Фронтьере,
ты — из глины, мне знакомой с детства,
я тебя касаюсь, как пшеницы.

Или ты не поняла, араукана,
что, когда я позабыл о поцелуях,
сердце вспоминало эти губы?

Я, как раненый, бродил, пока не понял,
что нашел свою любовь на свете,
землю поцелуев и вулканов.

VI

В чаще лесной, заблудившись, срезал я темную ветку,
и к пересохшим губам поднял я шепот ее:
это, наверное, был рыдающий голос ливня,
колокола разбитого или пронзенного сердца.

Что-то из дальней дали вдруг предо мной возникло,
спрятанное глубоко, скрытое под землю,
возглас, давно заглушенный осенью беспредельной,
из разметенных листьев, из влажного полумрака.

И, губами моими разбуженная от забытья лесного,
ветка орешника глухо и тихо запела,
и блуждающий запах ветки в сознание мое
просочился,

как будто меня отыскивали давно позабытые корни,
с детством моим далеким потерянная отчизна,
и я замер на месте, пронзенный блуждающим
ароматом.

VIII

Если б глаза твои не были цвета луны,
цвета дня с его глиной, огнем и работой,
если бы воздух не был в плену у тебя,
если бы ты не была бы янтарной неделей,

если бы желтым мгновением ты не была,
мигом, когда по плющу поднимается осень,
если бы ты не была хлебом, который лупа
так ароматно печет, по небу муку рассыпая,

ах, дорогая, я не любил бы тебя!
Я обнимаю в тебе все, что вокруг существует:
время, песок, ароматное древо дождя;

все, что живет для того, чтобы жил я на свете, —
все я увидеть могу, не уходя далеко:
все, что на свете живет, вижу я в жизни
твоей.

IX

Удар волны в непримиримый камень,
и вспышка света — распустилась роза! —
и кругозор морской стал каплей синей соли,
одной лишь виноградиной зеленой.

Магнолия, растаявшая пеной,
магнитные блуждания, смерть в расцвете,
из были в небыль вечные возвраты,
круговороты истолченной соли.

Мы тишину в себе оберегаем,
любовь моя, пока свергает море
своих восторгов статуи и башни,

не потому ль, что в тех незримых тканях
из нескончаемых песка и влаги
мы нашу нежность прячем от погони?

XIII

Свет, который от ног поднимается в огненной гриве,
и живая припухлость изысканных форм —
не морской перламутр, не холодный фарфор,
ты из хлеба, из хлеба, из теплого свежего хлеба.

Ты, как житница, наполнишься чистой мукою,
все полней и полней становясь в благодатную
пору,

в эту пору и грудь твою щедро раздвоили
злаки,
в эту пору любовь, словно уголь, в земле
занялась.

Хлеб — твой рот, хлеб — твой лоб, хлеб — твои
обнаженные ноги;
хлеб, который я ем, он наутро рождается
вновь,
бесконечно любимая, флаг ароматных пекарен!

Пламя жарких печей преподало урок твоей крови,
и мука своей сытости щедро тебя обучила,
аромат и язык ты в дар получила от хлеба.

XIV

Где время взять, чтоб волосы твои
отпраздновать, пересчитать, прославить?..
Другие любят жить глазами их любимых,
а мне служить бы этим волосам.

В Италии тебя Медузой звали
за их костер, взвивающийся в небо.
А я тебя зову всклокоченной растрепой,
но знаю сердцем входы в эту чашу.

Когда ты в ней сбиваешься с дороги,
не забывай меня и помни: я люблю.
Не дай мне потеряться в одиночку

в угрюмом мире с множеством дорог,
где мрак и грусть царят, пока не всходит
солнце
над башней золотых твоих волос.

XVI

Люблю тебя, клочок моей земли,
затем что на космических полянах
нет для меня другой звезды, лишь эта
всю многозначность мира повторяет.

Твои глаза широкие мне дарят
свет жизни, свет разрушенных созвездий.
Трепещет твоя кожа, как тропинки
бегущего под ливнем метеора.

Из истинной луны — мне эти бедра,
глубокий рот и сладость губ — из солнца.
Я твоего огня целую очертанья,

лучами коронованное сердце,
моя голубка, девочка и космос
и география моей Вселенной.

XX

Моя дурнушка! Ты растрепанный каштан.
Моя красавица! Как ветер, хороша ты!

Твой рот огромен — можно сделать два,
но поцелуй свежи, как арбузы.

Моя дурнушка! Где твои соски?
Ничтожные — два зернышка пшеницы.
Я предпочел бы видеть две луны,
венчающих две суверенных башни.

Моя дурнушка! От цветка к цветку,
моя красавица, и от звезды к звезде,
и от волны к волне я счет тебе веду.

Дурнушка и красавица моя!
За звездный поясок, морщинку меж бровей,
за то, что ты светла и ты темна, люблю!

XXIX

Ты пришла из нищих хижин Юга,
из землетрясений и морозов.
Долго ль, боги, отправлять вам на смерть
тех, кто кончил школу жизни в глине?

Глиняная черная лошадка,
поцелуй из глины, мак из глины,
смутный голубь сумерек, копилка
со слезами горестного детства.

Девушка! Ты сохранила сердце,
приучив к камням босые ноги,
не всегда твой рот знал хлеб и сытость.

Ты — мой бедный Юг, душа моя оттуда:
наши матери белье стирали
в синеве небес его, подруга.

XXXII

С утра наш дом, как истина, вверх дном,
и новый день берет свои истоки
из простынь, перьев — жалкая лодчонка
меж горизонтов сна и распорядка.

Стремятся вещи утащить с собою
следы и связи, без дорог, без курса.
Бумаги прячут скомканные звуки,
и длит вчерашний день вино на дне
бутылки.

Хозяйка — как пчела. Ты все вокруг колеблешь,
касясь областей, размытых мраком ночи,
захватывая свет свою светлой властью.

И ясность воздвигается, как зданье,
и ветер жизни подчиняет вещи,
и утверждает лад свой хлеб, свою голубку.

XXXVIII

Твой дом шумит, как будто поезд в полдень,
гудят в нем осы и поют кастрюли,

считает водопад свои росинки,
твой смех похож на пальмовые ветви.

Лазурь стены ведет беседу с камнем,
и, как пастух, приходит телеграмма;
меж двух смоковниц зеленоголых
появится Гомер в сандалиях бесшумных.

У города здесь нет ни голоса, ни плача,
ни бесконечности, ни музыки, ни гула —
одна беседа львов и водопада,

и ты встаешь, поешь, спешишь куда-то,
сажаешь, варишь, шьешь, уходишь и
приходишь,
но только ты ушла — и вдруг зимой запахло.

XLII

Сверкающие дни скользят по глади моря,
насыщенные, словно желтый камень,
сиянья меда в нем не тронул беспорядок,
храня его прямоугольник строгий.

Полдневный час гудит, как пламя или улей,
и зелено усилье погрузиться
в листву, что поднимается высоко,
в лучистый мир, что шелестит и гаснет.

О сеть огня палящей массы лета!
Она возводит рай на этой темноликой
земле — она страдания не любит;

ей дай огонь и свежесть, хлеб и воду
и чтоб людей ничто не разделяло,
лишь солнце или ночь, луна или колосья.

XLIII

У всех других ищу твои приметы,
в стремительном, крутом потоке женщин:
глаза, которых чуть коснулась влага,
и ноги светлые, что в море рубят пену.

Мне кажется порой — я видел эти ногти:
как ягоды, они продолговаты,
и волосы твои проходят мимо,
и отражают воды твой костер.

Но ни в одной волне нет твоего биенья,
нет этого свеченья темной глины
из глубины лесов арауканских.

Ты вся — итог, и вся ты однократна,
и я люблю и прохожу с тобою
всю Миссисипи женского начала.

и весь тот дым, который бродит в мире,
чтоб сердце мое бедное убить.

Пускай не раздробится на песке
твой силуэт, не улетят ресницы;
не оставляй меня ни на минуту!

Ты и за миг так далеко уйдешь,
что я пройду весь мир с одним вопросом:
мне ждать тебя иль умереть скорей?

LXVII

На Исла Негра сильный ливень Юга
упал одной прозрачной грузной каплей,
ей море открывает холод листьев,
и, как бокал, ее земля приемлет.

Даруй мне в поцелуях соль, и воду,
и мед пространства — это время года,
и губы неба в ароматной влаге,
и моря зимнего терпение святое.

Зовет нас что-то, двери сами настезь,
дождь без конца бормочет что-то окнам,
и небо вниз растет, корней почти касаясь.

Так день плетет и расплетает сети:
дороги, шелест, рост, и соль, и время,
мужчина, женщина, зима на белом свете.

LXXVIII

Нет больше у меня всегда и никогда.
След на песке оставила победа.
Я бедный человек, и я люблю людей,
не раздаю, не продаю колючки.

Так знайте, что венков кровавых я не вил,
что побеждал жестокою издевку;
когда и впрямь настал прилив моей души,
за подлость заплатил я голубями.

Я очень ясен буду, был и есть.
От имени любви, меняющей свой облик,
я чистоту навек провозглашаю.

Смерть — только камень вечного забвенья.
Люблю тебя. В тебе целую радость.
Натащим дров. Зажжем огонь в горах.

LXXXVI

О Южный Крест, о ароматный клевер
из фосфора! Четыре поцелуя —
и я постиг красу твою сегодня,
когда луна совсем кругла от стужи.

Тогда с моей любовью и любимой,
о синий иней, безмятежность неба,
ты поднялся, зажег во мраке ночи
дрожащего вина четыре кладовые.

О серебристый трепет чистой рыбы,
зеленый крест в зеленых искрах мрака,
приговоренный к небу светлячок!

Сомкни свои глаза со мною вместе,
усни на миг, зажги во сне мужчины
свои четыре звездных величины.

XCII

Но если я умру, а будешь ты жива,
но если ты умрешь, а я в живых останусь,
других земель тоске не отдадим, —
есть лишь одна земля, где мы живем
с тобою.

Пыль на пшенице и пески в песках,
бродячая вода, свободный ветер — время
несет нас, как плавучее зерно,
и мы могли свободно разминуться.

Огромный луг, где повстречались мы,
мы возвратим его безмерно малым.
Но это все любовь, любовь, ей нет конца,

и потому что не было рожденья,
не будет смерти... Длинная река —
сменяются лишь берега и губы.

XCIV

А если я умру, переживи меня
с такой неистойвой и чистой силой,
неизгладимый взгляд от Юга к Югу брось,
от солнца к солнцу пусть твой рот звучит
гитарой.

Я не хочу, чтобы слабел твой смех.
Будь радостью, она — мое наследство.
Не призывай меня. Меня на свете нет.
Живи в моем отсутствии, как в доме.

Огромен этот дом — отсутствие мое,
в него сквозь стены можешь ты войти
и в воздухе развешивать картины.

Прозрачен этот дом — отсутствие мое,
мне будет видно, как ты в нем живешь,
и если в горе, то умру я снова.

XCVI

Думаю, эта эпоха, когда ты любила меня,
минет и сменится новою синею эрой,
новою кожей на этих же самых костях,
новой весною, открывшейся новому взгляду.

Те, что случайно связаны вместе сейчас,
между собою беседуя высокомерно, —

члены правительств, прохожие и торгоши, —
больше никто их за ниточки дергать не
станет.

Сгинут куда-то жестокие боги в очках,
все лохмачи плотоядные с книгой под
мышкой,
всякая разная мелкая мошка и тля.

Чтобы увидеть только что вымытый мир,
новые очи откроются, омытые новой водою,
и без страдания новые нивы взойдут.

Из книги «Плавания и возвращения»

ОДА ВОДАМ ПОРТА

Ничего морского в водах порта:
ящички, изломанные в щепки,
шляпа старая,
гнилые фрукты.
Надо всем — недвижимые птицы,
черные большие сторожа.
Море отдало себя отбросам —
лепестки увядшей наперстянки,
капельки оранжевого масла
словно отпечатались в воде;
будто кто-то по воде протопал
масляными жирными ногами
и следы оставил на волнах.
Пена,
о божественная пена,
суп богини,
мыло Афродиты!
О божественном происхождении
пена позабыла навсегда.
Жалкая и траурная кромка,
задний дворик маленькой харчевни,
черная зловонная капуста,

листья, кочерыжки, кочаны.
Надо всем сидят большие птицы,
черные торжественные птицы,
крылья их
как острые кинжалы,
но они не режут высоту.
Эти птицы больше не летают;
словно бы приколотые к тучам,
ножницы зловешей литургии
независимо и гордо ждут.
Море, позабывшее о море,
обо всем морском по самой сути,
воды порта,
маленькие воды,
вы бежали в страхе с поля боя
и теперь сдаете тут экзамен
комитету этих черных птиц.
Эти нелетающие птицы,
к облакам приколотые крылья,
бронированные равнодушьем,
безучастно дремлют над водой.
Грязная вода колышет сонно
жалкий сор —
презренное наследство
кораблей, ушедших в океан.

ЧИЛИ — ПО ВОЗВРАЩЕНИИ

Родина! Вот я опять возвращаюсь к своей судьбе
из городов и лесов,

с моря,
из самых различных наречий.
Все, что увидел, берегу в глубине своих глаз,
все, к чему прикоснулся, оберегаю в ладонях,
все, что узнал и услышал, запечатлел мой лоб
в клинописи морщин, которые врезало время.

Я, как всегда, возвращаюсь,
став и моложе и старше,
помолодев от любви, от любви, от любви
и постарев, разумеется,
само собой разумеется,
потому что меня изъедают
часы, недели и месяцы —
неумолимые зубы календаря.

Все, чем я был от тебя вдали,
все, чем я стал,
сложу я к твоим ногам и отдам твоим волосам,
терпко и сладко любимая, маленькая страна моя.
Ничего не свершал я больше того, что можно тебе
отдать,
отдавая тебе свое и то, что не стало моим,
тратя себя как орудие ради тебя,
как инструмент, что в конце концов возвращает
металл земле.

Я бродил меж людьми и по рынкам,
в электрическом свете заводов,
собирая раздумья и камни,
цветы собирая,
и чем больше любил я,

чем больше любили меня,
тем ты становилась богаче;
все, что я обретал, все, что люди дарили,
все я брал для того, чтоб щедрее украсить тебя,
чтоб воспеть мою родину, узкой земли кушачок.

Там, куда приходил я, меня ожидали
дружба, ласка, любовь.
Там, где я побывал,
на больших площадях осыпали меня
поцелуями, песнями и мотыльками.
Говорил я в ответ: приглядитесь — меня больше
нет,
прикоснитесь ко мне — вы увидите, я лишь земля,
камень Чили, чилийские реки,
песнь в пути, перекатное сердце.

И сквозь песню мою
увидали глаза чужеземцев
этот длинный кушак, территорию Чили,
песчаные косы Арики,
созвездья ночных кораблей,
озаряющих серые сны безрадостной Антофагасты,
а за ними селенья виноградников темно-лиловых,
уголь в недрах земных и морских,
а дальше, в зеленых районах,
зеленую массу очищенной солнцем пшеницы.

О рассветах твоих,
о времени и о судьбе,
о мужчинах и женщинах
пел я охотно.

О героях неистовых
в их капителях светлых,
очищенных в тигле,
где остались лишь кровь да роса.
Но и с ними шагая
и им помогая бороться,
все равно я всегда был с тобой, мой народ,
разбивающий трудную землю своими руками,
добывающий медь и сульфаты,
соль, и рыбу, и лук, и вино,
умеющий делать ботинки,
поезда приводящий в движенье
бесконечное, вечное.

Здесь ничто никогда не стоит неподвижно.

Мой народ — это значит движенье.

Моя родина — путь.

Так на землю свою
возвращаюсь я с песней своей,
зная все, что меня ожидает.

Какой-то министр меня назовет ненароком
антипатриотом,
и это сужденье охотно подхватят глупцы.
И Газетная Крыса, перо свое в желчь окуная,
мое имя и дело в «Эль Меркурио» будет
пятнать.
Молодой человек, который стремился расти

а которому дал я и слово и хлеб,
выбиваясь из сил, изречет:
«Надо мертвых собрать
на борьбу с его песней живой».
Так и будет в тени моей тени расти
вспоенное мутной волной
злой зависти горькое древо.

Что ж, прости меня, родина, снова прости,
прости мне сегодня
этот новый лавровый венок, что несу я тебе
издалека:
схорони его в светлых просторах своих,
зарой меж корнями знамен.
Можешь думать, что я никуда и не ездил,
что я не вернулся,
можешь рот мне заткнуть, можешь голос мой
скрыть,
чтоб никто не слышал, не видал и не трогал меня.

Выбираю другое сражение:

только ради родного народа

я хочу непочатой любви, неуязвимой любви.

ОДА ВЕЩАМ

Я безумно люблю
всевозможные вещи,
как сумасшедший, —

ножницы.
клещи;
я обожаю
чашки и миски,
дверные кольца и ручки;
о шляпах
уж нечего и говорить.

Люблю
всевозможные вещи,
любые,
не только отличные,
но и ничтожные,
малые,
маленькие, —
например, наперсток,
блюдец,
шпоры,
цветочные вазы.

Ах, друзья мои,
прекрасна планета,
полная трубок,
которые наша рука
заставляет дымить,
полная разных ключей,
всевозможных солонок;
все сделали руки людей,
все:
изгибы ботинка,
ткани,
золото

в новом обличе,
без крови рожденное вновь;
гвозди,
очки,
компасы,
метлы,
часы,
нежные мягкие кресла,
какую-нибудь монету...
Нет,
что говорить,
прекрасна,
прекрасна планета!

Ах, сколько чудесных вещей
сотворил
человек,
обитатель земли,
из дерева,
шерсти,
стекла,
веревки:
столы —
ах, какие чудесные! —
лестницы и корабли.

Я люблю,
я все вещи люблю,
и не то чтобы жгучие,
благоуханные,
а всякие разные вещи;

просто так,
потому что
это — наш океан,
твой и мой океан,
наши пуговицы,
наши колесики,
много малых забытых сокровищ;
всегда
из неведомых перьев,
в которых когда-то,
как лимонный цветок,
расцвела любовь
и оставила след аромата.
В рукоятке ножа
и в ножке бокала
вижу я очертанья руки —
она их когда-то держала,
но забвенью забыло о ней.

Я хожу по земле,
по дорогам планеты,
по домам
и по улицам,
прикасаясь к вещам,
рассматривая предметы.
Я их втайне желаю:
вот этот —
за то, что звенит,
а вот этот —
за то, что податлив и гибок,
а другой —

О мокроволосые пространства,
туго опоясанные в талье
поясом причудливых лиан!

Вдруг
среди растительности буйной,
где-то в еле видимом проборе
той многоволосой шевелюры —
светлая метелочка из перьев,
хохолок по ходу паровоза,
увлекающий вослед вагоны,
странные неведомые грузы
в подавляющую беспредельность
вечного величия природы,
крик тревоги, выброшенный в небо,
страстное томление, дрожь пейзажа —
трепет паровозного дымка.

Так
беседуют
поля пшеницы
золотыми волнами своими
с поездом,
который мчится мимо,
словно с ночью,
словно с водопадом,
словно с птицей этих же широт.
Поезд
отвечает,
отделяя
искры пламенеющего угля,

от которой будет долго пахнуть
овцами, дождем...

Поезд,
поезд, гусеница, шелест,
в южных зарослях зверек продольный,
в массе листьев мокрых и холодных
и благоуханиях земли;
он бежит,
и он везет куда-то
путников угрюмых
и черных пончо,
с конской упряжью,
с безмолвными тюками:
с островов везут они картофель,
красной лиственницы древесину,
доски из копиуэ и дуба,
дерева живого аромат.

Поезд,
о разведчик одинокий!
Возвратишься ты в ангар Сантьяго,
в этот улей человеческой власти,
и между вагонами без лиц,
может быть, заснешь печальной
ночью
сном без аромата и без снега,
без корней,
без островов дождливых,
вечно ожидающих тебя.

Ну, а я
и среди океана
поездов
и в небе паровозов —
я тебя бы все-таки узнал:
по приметам этой дальней дали,
по травинкам на сырых колесах,
по особенному трепетанью
сердца, пересекающего Фронтьеру
и постигшего непостижимость
ароматной синевы дождей.

РУССКИЕ ГОРЫ

Поэзия!
Без малого полвека
Она была, пожалуй, сущим раем
Для всех высокопарных дураков.
Покуда в ней не появился я
И не воздвиг своих, тех самых русских гор,
Которые в России почему-то
Зовут американскими горами.

Пожалуйста, взбирайтесь, кто угодно!
Но если сверзитесь и расшибетесь
И рот и нос расквасите до крови,
Я, разумеется, не отвечаю.

ПРЕДЛАГАЮ ЗАКРЫТЬ ЗАСЕДАНИЕ

Дамы и господа.
Господа и дамы!
Я хотел бы поставить один лишь вопрос:
Кто мы — дети земли или солнца?
Если только земли,
Я не вижу причины
Продолжать затянувшуюся кино съемку
И на том предлагаю закрыть заседание.

МОНОЛОГ ИНДИВИДУМА

Я — Индивидуум.
Сперва я жил в скале

(Я вырезал там разные фигуры),
Потом я стал искать местечко попригодней.
Я — Индивидуум.
Сперва добыть еды,
Птиц, рыбы, дров...
(О прочем можно волноваться позже).
Я высекал огонь:
Дрова, дрова...
Где можно бы найти еще дровишек,
Еще дровишек, чтоб разжечь огонь?
Я — Индивидуум.
Я спрашивал себя
В тот миг, когда я приближался к бездне,
Что воздухом наполнена была,
И голос отвечал мне:
Я — Индивидуум.
Потом я попытался
Переместиться на другие скалы,
И там я снова вырезал фигуры,
Я вырезал там буйвола и реку.
Я — Индивидуум.
Я наконец устал,
Мне надоело высекать огонь,
Мне захотелось повидать побольше.
Я — Индивидуум.
И я сошел в долину, омытую рекой,
И я нашел там племя первобытных.

Я — Индивидуум.
Я увидел, как люди
Увлечены различными делами:

Как вырезают на камнях фигуры,
Как высекают пламя... Эти тоже!

Я — Индивидуум.
Они меня спросили,
Откуда я пришел.
Я им ответил: — Да,
Нет у меня определенных планов.
Я им ответил: — Нет...
И с этих пор...
Ну ладно!

И взял я камень, найденный в реке,
И начал обрабатывать его,
Полировать его.
На это дело
Немалую часть жизни я потратил.
Но это длилось чересчур уж долго.
Рубил деревья, плыл на них по морю,
Рыбачил, занимался тем и этим.

Я — Индивидуум.
Пока мне не наскучило все снова,
Все: бури, штормы, молнии и громы.

Я — Индивидуум. Ну что ж, отлично!
Тогда я начал думать понемногу,
Мне шли на ум дурацкие вопросы,
Пустые и фальшивые проблемы.
И я пустился странствовать в леса,
Шел от ствола к стволу,
К источнику пришел,

Ко рву, в котором копошились крысы.
Дойдя туда, я сам себя спросил:
— А где тут есть какие-нибудь люди,
Какое-нибудь племя дикарей,
Упорно добывающих огонь?
Таким путем я двинулся на запад
С людьми другими,
Нет, скорей один.
Мне говорили: видеть — значит верить.
Я — Индивидуум.
Я вижу очертания во мраке,
Быть может, тучи,
Тучи и зарницы.
Тем временем, покуда дни шли мимо,
Я вдруг почувствовал, что умираю.
Тогда я стал изобретать машины,
Часы, оружие, средства перевозки.
Я — Индивидуум.
Я успевал едва
Похоронить умерших, хлеб посеять.
Я — Индивидуум.
С годами я постиг
Какие-то предметы, формы, смыслы,
Пересекал границы на баркасе,
Который шел по морю сорок суток.
Я — Индивидуум.
Затем случились засухи и войны,
Цветные люди заняли долину,
Но я производил, не уставая.
Я произвел сложнейшие науки
И очень много непреложных истин,
Я произвел изделия Танагры

И много книг до тысяче страниц,
Я стал чванлив, я изобрел фонограф,
Потом я создал швейную машину,
И первые автомобили в море
В то время стали появляться.
Я — Индивидуум.
Другие стали изучать планеты,
Другие стали изучать деревья,
Но я производил орудья производства,
Писчебумагу, мебель и посуду.
Я — Индивидуум.
Я строил города,
Дороги строил...
Церкви и соборы
Внезапно стали выходить из моды,
Искали люди одного блаженства.
Я — Индивидуум.
Потом я понял,
Что лучше путешествовать по свету,
Практиковаться в разных языках,
В наречьях разных.
Я — Индивидуум.
Я в скважины замочные глядел,
Да, я подглядывал, о том я и толкую,
Чтобы свои сомнения рассеять,
Заглядывал я в щели занавесок.
Я — Индивидуум.
Ну что ж, отлично!
Не лучше ли вернуться в ту долину,
Под ту скалу, что мне служила домом,
Опять начать вырезывать на камне,
Опять пуститься из конца в начало,

Мир выворачивая наизнанку?
Но, собственно, к чему?
Не вижу смысла.

ЧУЙКО И ДАМАХУАНА

Стояли в шкафу на полке
В одном деревенском доме
Большая дамахуана *
И маленький чуйко ** в соломе.

Они влюбились друг в друга.
Они решили жениться,
Чтоб среди другой посуды
Окончились пересуды.

Везла их в церковь карета —
Быки зеленого цвета.
Один назывался Чича ***,
Другой назывался Водка.

Лил дождик что было мочи,
Зима стояла на свете,
Реку вина молодого
Пришлось переплыть карете.

* Большая бутылка для вина.
** Малая бутылка для вина.
*** Кукурузная водка.

Чуйко промок немного
Вместе с дамахуаной,
Но был он безмерно счастлив
Возле своей желанной.

И это большое счастье
Других согревало в слякоть,
И кактус не стал колоться,
Плакучая ива — плакать.

Их встретил сеньор священник,
Красиво читая «Credo»,
Перебирая, как четки,
Ягоды винограда.

Позвали гостей попроще,
Нехитрых и неученых.
Посажена матушка — бочка,
Посаженый отец — бочонок.

Дома встречать их вышли
Два бурдюка тугие.
Стакан заплясал с бутылкой.
Следом пошли другие.

Гостям — им только плясать бы!
Плясали чашки и кружки
До окончанья свадьбы, —
Со слов одного пьянчужки.

Из болгарских поэтов

Елисавета Багряна

(Род. в 1893 г.)

ЗИМНЕЕ УТРО

На Витошу с утра нетрудно заглядеться.
Укутана снегами декабря,
стоит гора, что так близка нам с детства,
сегодня ослепительно горя.

И благодарность теплою волною
встает, захлестывая берега,
и озаряет мир передо мною,
как солнце в небе — горные снега.

Пока я вижу умудренным взглядом
вершины, небо, солнца яркий свет,
мой путь земной, тебя со мною рядом,
судьба моя! — иных желаний нет.

И дольше ль ей меня, или короче,
как птичку после бури кутать в пух,
за зло и за добро, за дни мои и ночи
благодарю судьбу и про себя и вслух.

ТРЕВОЖНАЯ ВЕСНА

Ты, новая весна, приходишь, все сильнее
тревожа неизвестностью своей.
Чем ярче солнце, тем она сложнее —
загадка этих непевучих дней.

Деревья развернут сверкающие кроны,
разбуженные ульи зажужжат,
и каждый цвет созреет, опыленный,
и лепестки на пашню облетят.

На этом пире, в этом ликование,
где каждое зерно идет тотчас же в рост,
где жадно любит каждое создание,
каким он будет, наш заздравный тост?

Ужель навек, с тех пор как солнце светит,
с тех пор как день на свете занялся,
войне греметь и бушевать на свете,
жестоким вихрем корчевать леса?..

Но мысли мои нынешних не станет,
они, как одуванчик, облетят,
когда ударит гром, и буря грянет,
и за снарядам засвистит снаряд.

Расплата грозная за все, что было ложью.
Сражение за жизнь — и я в бою.
Земля моя, дрожу твоею дрожью,
дыхание тебе на благо отдаю.

1942

БЕЗ ВЕСТИ

Ты отплывал тогда, и за тобою вслед
моя любовь в то утро отплывала.
Как измельчала жизнь — восторга нет, порыва нет.
Лишь день за днем рука шершавая срывала.

Где, за кипением каких морских глубин,
наполненных чугунными телами,
окаменевший, раненый, один,
сегодня ты бредешь сквозь время и сквозь пламя?

На пристани стояли шум и гром,
когда корабль тяжелый якорь поднял.
Ты на борту, я тут — неужто правда в том? —
пытала горько я себя тогда, сегодня...
Чуть слышные слова! Доныне помню вас,
вы — словно капли раскаленной влаги
в прощальный наш безумный краткий час.
Сейчас они горят, как маленькие флаги,

как знак того, что вдруг на белом корабле
ты возвратишься утренней порою
к очищенной в огне ликующей земле
и нашу правду мы провозгласим с тобою.

1943

В СНЕГАХ

Неширокой тропинкою в гору иду не спеша.
Спит лесная держава, мантией ватной одета.
День и светел и чист, и снежная даль хороша —
вся в алмазах на миг от внезапного яркого света.

Ты на том берегу, незнакомый, чужой...
Между нами лавиною время ползет тяжело и
сурово.
Может, завтра опять этот мир расцветет молодой,
двинет к новому счастью полки свои снова.

Только нас друг от друга раскинуло врозь по
земле.
Мы на разных мирах, идущих по разным дорогам,
после стольких скитаний, в тумане и мгле,
когда много меняется и горечи выпито много.

Мы отыщем ли мост, и руками нашарим ли путь,
и пройдем ли над бездной, раскрывая объятия
для встречи,
твердо веруя в цели затем, что ведь в том-то
и суть,
что от взрезанной муки дороже лицо человечье.

Или так же я буду взбираться на гору одна,
словно древний мудрец, в тумане доверившись
чуду,
будет чисто и холодно, будет сверкать пелена,
ты — чужой, ты — далеко, и я о тебе позабуду...

1943

ЗВЕЗДЫ

Та звезда, что так ярко светит
в этот вечер в моем окне,
может быть, уже много столетий
как погасла в своей вышине.

Капля вечности дивно сияет,
озаряя горный хребет.
О тебе мне напоминает
свет, живущий тысячи лет.

На погасшей в годах картине,
в темной раме жизни моей,
тьнь твоя мне видится ныне
все отчетливей и светлей.

С каждым днем твой образ нетленной,
все огромное, все живей,
будит тысячи сожалений
в тишине бессонных ночей.

Ты сегодня мне виден четче,
возводящий над смертью мост,
вдохновенный строитель-зодчий,
засиявший лучами звезд.

Боровец, январь 1943

МОСТ

В минувшее ведущие мосты
обрушились, и нет путей назад.

Над миром свод свинцовой высоты.
Огонь бушует. Города горят.

Земля до глубины потрясена.
Зияет пропасть, глубже что ни час.
И грянувшая буря так сильна,
что, может статься, унесет и нас.

И вереница тех, кто обречен,
идет вперед, и некуда свернуть.
На лбу клеймо. Их тыщи, миллион...
Пронзенными телами устлан путь.

Он бесконечен, страшен и кровав,
но есть ему конец над ревом вод,
что гибельнее раскаленных лав, —
там в будущее новый мост растет.

И столько тысяч судеб, душ и тел
навек в основание легло,
чтоб он над потрясениями летел,
чтобы его ничто разрушить не могло.

Затем что нет в минувшее пути,
все рухнуло, и не о чем жалеть,
и новым людям в новый день идти
на новый берег и о новом петь.

1943

ВЕК И МЫ

Войны, революции, победы и разгромы.
Мир вокруг минирован, призрачен, шесток.
Снова войны, войны — ужасны и огромны,
и кровавая борьба вдоль и поперек...

Это наша жизнь, друзья, с самого начала,
может случиться, до конца. Это жизнь бойца,
Жизнь, которая всегда новое искала.
Век таков, и таковы люди и сердца.

Нас несет с собой поток мировых событий.
Недоступен нам покой, кропотливый труд.
Только звезды самолетов светят нам в зените
и сирены наших дней трубами поют.

Книги пишем мы в отбой, между двух бомбежек.
Если вечности замет в них еще и нет,
то эпохи частый ритм смолкнуть в них не
может
и они дадут ростки для грядущих лет.

1944

Валерий Петров

(Род. в 1920 г.)

ПОГОЖЕЙ ОСЕНЬЮ

(Три отрывка из поэмы)

...По склону Витоши клубится мгла.
Она полна глухих и смутных чар.
Запахло дымом. Это не пожар...
Сухие листья ребятишки жгут.
Прохладно. Ясно. Осень тут как тут.
А я один, хоть полон кабинет
альбомов, книг, журналов и газет,
в них собрано искусство всей земли.
Я думаю: они бы помогли,
когда бы я их все осилить мог!
Тогда бы вдруг и я другим помог.
Но я смеюсь, хотя мне не смешно:
из этого богатства все равно
я почерпнул лишь крошечную часть.
Что ж я к нему так жаден? Это страсть!
Моя библиотека все растет,
теснит меня и в плен меня берет,
и, видимо, все ближе день, когда
меня задушит пыльная орда,
стеснившая меня со всех сторон.

Я рухну, опрокинув телефон.
Напрасно будет он нести мне весть,
что новые издания в лавках есть.
Я буду спать спокойно и легко,
от книг и книжных лавок далеко...

Но шутки прочь! Велик наш вечный труд!
Себя весь век свой люди создают.
Идут года, седеет голова.
Мы учим факты, даты и слова,
читаем бесконечные тома,
общаемся с вершинами ума,
чтобы, едва-едва проникнув в суть,
обрадоваться и... в обратный путь.
И годы словно ластиком сотрут
все понятное, весь огромный труд,
все, что упорно создавали мы,
вбирая мысли в души и в умы
и создавая новый дух и ум
из миллионов опытов и дум.
Исчезнет все. Исчезнет человек.
Как след в песке, его смывает век
без сожаленья! Или нет, не так.
От человека остается знак —
какой-то след, какая-то строка.
Ведь лист бумаги, он не из песка.
И на бумаге я веду рассказ,
речь о себе, о времени, о нас.
Мы все — частица общего потока,
зачем же увязаем мы глубоко.
в том, что порой нам чуждо навсегда
и, сколько б мы ни тратили труда,

все будет чуждо, прямо говоря —
и ум и сердце расточаем зря?!

Ум. Сердце... Что ж, начало всех начал.
Их спор всегда в поэзии звучал.
Я помню, как сентябрьским днем девятым
колонной мы за знаменем крылатым
шли с митинга, гремевшего с утра
речами, громогласными «ура!».
Вдруг по дороге, в парковой аллее,
каштан созревший, яркий, как идея,
от старой кожуры освободился
и под ноги, сверкая, покатился.
Я поднял этот шарик шоколадный,
такой блестящий, яркий и прохладный,
как будто только что покрытый лаком,
лишь с пятнышком, как бы с родимым знаком.
Покуда я каштаном любовался,
напев знакомый издали раздался,
мотив печальный песенки знакомой,
и, вдруг охвачен странною истомой,
мечтою я невольно устремился
в тот город, что во сне мне только снился.
И жадно я вдохнул далекий запах
тех набережных в дождевых каплях
и тех вокзалов, слез и клубов дыма...
Колонна наша прошагала мимо,
а я один остался на панели.
И вдруг мои товарищи запели,
откуда-то из бесконечной дали...
Они меня видали? Не видали?
Я их догнал, встал в строй с друзьями вместе,

и стало стыдно мне, сказать по чести,
за то, что я повел себя так странно
всего из-за какого-то каштана.
С неловкостью справляясь понемногу,
я громко пел, вышагивая в ногу.

Что я почувствовал? Невольный стыд?
Ну что ж, бывает с каждым, что горит
на радости и пятнышко печали.
Бывает! Разве вы не замечали?
Найдите лишь идейный угол зренья!
Я вспомнил этот угол! Нет сомненья!
Та улочка и тот знакомый угол,
та ночь весны, та девушка-подруга...
Сквозь шум дождя зацокали подковы.
Ночной патруль! Нет выхода другого!
Мы пойманы, и защищаться нечем.
Тогда я обнял девушку за плечи,
прижав к стене и закрывая телом
ту надпись, нами сделанную мелом.
О неуклюжесть первого объятия!
Тепло девичье, мокрый ситец платья,
ночной патруль, зловещие копыта —
все в памяти моей навеки слито:
фашистские бесчинства, и террор,
и явки БОНССа, и горячий спор —
Эйнштейн и Дарвин, подвиг Гераклита,
ночь, улица, и цокают копыта...
Процокали. И тело слито с телом.
И лозунг на стене написан мелом.
Пусть меж хибарок, на сыром рассвете
надежда наша неуклонно светит

Хорошим людям, добрым людям в кепках.
...В руках еще неопытных, но крепких
так чисто девушка затрепетала,
и падал дождь, и вдруг понятно стало,
что мы давно друг другу тайно любу,
и губ доверчиво коснулись губы.
Ах, первый поцелуй, с тех пор все время
тебя я помнил и не путал с теми,
что раздавал потом я, не считая,
ни дрожи, ни волнения не зная.
Лишь о любви меж нами речь заходит,
твой угол память в городе находит,
и где бы ни был я, твой угол близко,
на нем дощечка: «Надка Памукчийска».
Любимая, ты не стареть решила,
двадцатилетних глаз не потушила,
на стыке жизни, на углу мечты,
навек молодой осталась ты.
Двадцатилетней, двадцать лет назад,
тебя скосил жандармский автомат.
Ты стала улочкой в моем пути,
и в ней домов не больше двадцати,
и вся она нисколько не длинней
твоей судьбы и юности твоей.
Вот девочки проходят без оглядки
и говорят: — Пошли гулять по «Надке»!
— Дают велосипеды напрокат
на «Надке»! — так мальчишки говорят.
Влюбленные который год подряд
на «Надке» повторяют свой обряд:
он ждет ее с пяти и до шести,
и наконец решается уйти,

и не уходит, рассудив, что в шесть
ее дождаться больше шансов есть.
Ну что ж, он прав! И вот она идет,
и он, сияя, начинает счет
того, как велика ее вина.
и робко защищается она,
и он сдаётся, и они идут
по «Надке» рядом. И сады цветут.
Цветите же, акации, цветите!
Идите же, влюбленные, идите
по улицам, которые цветут,
по улицам, которые живут,
затем, что их зовут по именам
тех, кто себя навеки отдал вам!
Пустеет угол. Только по привычке
я остаюсь у дорогой таблички.
Я снова тут, я снова буду ждать
тех встреч, которым больше не бывать.

...Дни давние, ушедшие назад!
Скажи мне, что с тобой случилось, брат?
Мне что-то вспоминается упрямо
давным-давно знакомая реклама:
два человека — лысый и кудрявый —
испробуйте волшебные составы!
Вот так и мы: унылы наши позы.
Произошли и в нас метаморфозы,
но мы шагнули не вперед, назад.
Я повторяю: что случилось, брат?
Как поредела золотая грива
высокого душевного порыва!
Струился к небесам ее каскад,
дышал в ней юный звездный аромат.
О, как мы были смолоду лохматы,
бодры, дерзки, отважны и богаты!
Преграды рушили одним ударом
и спорили с неугасимым жаром
о сущности любимого труда.
Ты говоришь: — Года! — Одни ль года?
Слегка, пожалуй, ожирели души,
сердца стучат размеренней и глуше,

намного суше стали наши лица,
и волосы уже устали виться
и выпадают, что ни день, сильнее...
На днях машинке пишущей своей
я профилактику проделал сам,
и знаешь, что я обнаружил там?
Представь себе, за каждую строку
машинке я платил по волоску!
Сдержался я и отошел чуть-чуть,
а то хотелось мне ее швырнуть
и разломать на мелкие куски
все интервалы, буквы, рычажки...

Бездушный и всеядный автомат,
она глотает все как есть подряд:
цветы, трамваи и табачный свет,
которым город в этот час одет;
тот дождик перламутрового дня,
что в Пловдиве весной настиг меня;
знамена, битвы, стачки, годовщины,
тот самый «дворник» на стекле машины,
надежды, неудачи и грехи —
машинка все перекует в стихи.
И, напечатав хоть десяток строк,
ты был бы рад услышать хоть намек
на улице, в трамвае, в час обеда,
от близких, от собрата, от соседа...
Заметил ли сосед или собрат?
Но ничего они не говорят —
те, что всегда болтают так охотно,
на этот раз сжимают губы плотно.
А зависть — лакмус, синяя бумажка,

как с ней порою управляться тяжко!
Когда читаем мы стихи другого,
она оценит строчку или слово
любого критика верней и строже:
«Как хорошо! Как здорово! О боже!»
О господи! О жар чужой удачи!
Ах, зависть — яд, горючий и горячий!
Ах, как ужасно — нет притворства в этом,
поверьте мне, — как страшно быть поэтом!

Недуг души, которым с юных дней
ты заперт в тесной комнате своей,
как будто все из той же рамки глядя,
как время мчится, день уходит за день,
за летом — осень, за зимой — весна...
А где-то жизнь понятна и ясна.
Там люди рады небу голубому.
Детей на плечи — и пошли из дому!
И покупает детворе отец
воздушный шарик или леденец
на палочке и пряник в форме рыбки.
...Есть радости, мечты, грехи, ошибки.
И люди живы ими. Ну а ты?
Твои ошибки, радости, мечты?
Попробуй просто жить, за годом год.
Ведь этот лучезарный небосвод
и для тебя синее. Что ж ты стих?
Ты хочешь небо видеть для других.
Какого цвета эта синева?
Лазурь? Индиго? Кругом голова...
А небосвод над головой твоей,
как небо, синь. Что может быть синей?

Возьми же эту синь и эту высь,
они твои, возьми и насладись,
и шариком воздушным поиграй,
сравнений для него не подбирай.
...Но все напрасно! Ты не слышишь слов.
Стопа бумаги ждет, и ты готов
немедленно свести ее на нет.
Все говорят: «Ему легко! Поэт!»
А сколько стоит непомерных мук
«неповторимых» рифм все тот же стук.
По всей земле несчетные года
они стучат, как будто поезда,
и пусть ты силишься не замечать,
но рифмы повторяются опять
до той поры, пока ты не постиг,
что кончен путь, что ты зашел в тупик,
зашел в тупик и безнадежно стал
среди стихов, как меж разбитых шпал,
и заглушает строки и слова
забвения могучая трава.

Зачем тогда мы пишем, милый друг?
Затем, что каждый думает: а вдруг
он — не как все?.. Последние пылинки
я смахиваю с пишущей машинки.
Береза разгорелась за окном
осенним и отчаянным огнем.
И почему-то весело мне стало
у этого рабочего металла.
Подсказывают буквы, и строка
несется по бумаге до звонка.

Ах, как бы славно, если б в сердце мог
звучать предупреждающий звонок,
который говорил бы: «Эй, приятель!
Ты сил уже достаточно потратил.
Остановись, кончается строка...»
Но даже при наличии звонка,
пожалуй, человека не исправишь! —
мы снова нажимали бы на клавиш
и продолжали б строчку на полях
на собственный последний риск и страх,
пока бы не окончилась бумага...
Топчись на месте. Все. Вперед ни шага!
Конец стихам. Опущен семафор...

...Да, я уверен, что любой из нас
на жизненном пути своем хоть раз
чуть задержался или поспешил
и сохраняет в глубине души
воспоминанья драгоценный клад
и все нет-нет — оглянется назад.
И, может статься, для кого-нибудь
так памятен в ночи железный путь
и этот неожиданный сигнал...
Вдруг в чистом поле поезд ночью встал
и двое из вагонной духоты
спустились под защиту темноты,
и после дня в пути казалось им —
мир под луною невообразим.
Торжественный покой стоял вокруг,
журчал ручей, был ароматен луг,
вдали звучало бляенье овец,
нет-нет звенел овечий бубенец,
и светляки, как будто звездопад,
и голоса цикад, цикад, цикад...
Когда бы не стоянка на пути,
он к ней бы не решился подойти.

Когда б не этой ночи волшебство,
она не допустила бы его.
Когда б не эти несколько минут,
они б вдвоем не очутились тут
и к ним не прикоснулся бы рукой
равнины звездной сказочный покой.
Таинственный, неведомый закон!
Какою силой их заставил он,
душевного смятенья не поняв,
присесть на ложе ароматных трав,
не спрашивая и не говоря?..
Исчезли колебанья фонаря,
шаги по щебню, чьи-то голоса
и пахнущие маслом тормоза.
В глубоком звездном хаосе пропал
и семафора огненный сигнал,
и паровоза черная труба..
Остались только двое и судьба,
во мраке, где ни звука, ни души,
в извечной той и вечной той тиши.
...Так-так, так-так — вращение колес.
К туманам утра рвался паровоз.
Всю ночь какой-то пассажир храпел,
другой курил, а третий что-то ел.
И надписи учили их в пути
на трех языках, как себя вести,
смирняя двух сердец тревожный стук.
Последнее прикосновение рук,
не рук, а лишь столкнувшихся локтей —
о двое напроказивших детей! —
когда внезапно поезд стал рывком.
Она встает. Он с нею не знаком.

Вагон причалил к берегу — готов!
Две старых тетки и букет цветов.
Они ее поспешно увели
куда-то вдаль, на край другой земли.
Ни адреса, ни телефона нет.
Она исчезла до скончания лет!..

Другой хранит в душе с далеких пор
провинцию, один просторный двор
за белой невысокою оградой,
наполненный живительной прохладой.
Он со своим товарищем вдвоем,
спустившись с Рилы, отдыхали в нем.
С пути он им казался лучше рая,
когда они, умывшись, отдыхая,
болтая, с прибаутками, со смехом,
сидели под развесистым орехом
с хозяйской дочкой, что была крепка,
бела, свежа, как миска молока,
которой были путники так рады.
О, долгие томительные взгляды
и эта дрожь — тебе пятнадцать лет...
А девушка хохочет лишь в ответ,
срывает вишни, став к тебе на плечи,
тебя почти лишая дара речи,
когда шероховатой кожей ног
касается твоих горячих щек!
Воспоминанья трепетны и сладки...
Но, баловень, ушел он без оглядки
с того двора на истинный простор,
не думая о том, что с этих пор
его повсюду будут звать назад

те вишни спелые, тех губ гранат,
и будет слышать он девичий смех,
и вспоминать развесистый орех,
и в старости единственной отрадой
увидит день за белую оградой!

Он помнит счастье. Счастье было там.
Мы тянемся к нему: охота нам
схватить его — ведь рядом, ведь в избытке! —
но вновь мираж — напрасные попытки!
А кто-то третий вспомнит горький путь
и день войны, у Пешта где-нибудь.
Он журналист — армейская газета
идет вперед. И вдруг виденье это
в развалинах возникло перед ним,
едва не превратившееся в дым
в каком-нибудь ближайшем Освенциме...
И он с друзьями добрыми своими
кормил ее и пивом угощал,
и помощь и защиту обещал,
читал стихи и любовался ею,
припрятав предварительно трофеи:
гранаты в странном облике консервов —
оригинальная закатка нервов. —
которые ему попались как-то.
К себе на стол их положил редактор.
и каждый посетитель к этой штуке
протягивал непроизвольно руки.
и все вокруг кричали тотчас: «Стой!»
Ненужный риск! Победною весной
он был созвучен городам разбитым,
развалинам с неповторимым бытом,

цветению в пороховом дыму
и запаху зловещему тому
гниения и падали, откуда
цветок свободы вырос, как чудо.
Он бережно держал ее ладонь
и вдруг почти почувствовал огонь.
На тонкой коже каждый видеть мог:
«шесть-восемь-три-один» — пылал ожог,
зловещее число, — его злодей
определил и вырезал на ней.
И руку вдруг отдернул он с опаской,
боясь ее обидеть этой лаской.
Наивный человек! Сказать, что зло
побеждено, что страшное прошло,
всего верней, пожалуй, мог бы всякий,
кто просто бы погладил эти знаки.
Лишь ласками без счета и конца
он мог бы скорбь прогнать с ее лица,
лишь заключив ее в свои объятья,
сказал бы ей, что люди снова братья,
что мир настал и счастье человечье,
чтоб волосы упали ей на плечи
волной пушистой и благоуханной,
как пена над ромашковой поляной.
И чтобы, с волосами хлопоча,
она бы ощутила: у плеча
беспечный смех, как бабочка, порхает,
и пусть она взволнованно узнает
свой собственный давно убитый смех...
Вот так бы надо, на глазах у всех,
обить пороги, одолеть ухабы,
бежать скорей в НКВД и в штабы,

все трудности осилить, все пути,
ее домой скорее увезти
и к матери родной явиться прямо:
— Прими и обними невестку, мама! —
И обняла и поняла бы мать...
А он что может? С грустью вспоминать,
как он тогда почти отдернул руку,
увидев человеческую муку,
боясь ее задеть неосторожно,
поняв, как все мучительно и сложно.
И снова сложность разлучила нас,
как делает она не в первый раз,
нас разлучая горько и лукаво,
когда мы ей даем такое право.
И вот теперь, когда она далеко
и боль томит уже не так жестоко,
он вспоминает давние года
с друзьями фронтовыми иногда.
Шумят бывалые фронтовики,
но вдруг замрет широкий взмах руки,
улыбка превращается в гримасу,
подходит память к роковому часу,
со дна души, из трепетных глубин
встает число: шесть-восемь-три-один.
Как будто телефонный коммутатор
по требованью зазвонил куда-то,
и отвечает на его звонок
она ему, но странен и далек
ее ответ — тревожно и грозиво
летят издалека два страстных зова
через границы... Право, что за шутки?!
Он словно заперт в телефонной будке,

он все забыл, внимая лишь ответу,
он в автомат не опустил монету,
губами он касается стены
глухой неодолимой тишины;
а где-то на другом конце она,
и перед ней — молчания стена.
— Алло! Алло! — ее несетя стон.
— Алло! Алло! — ей отвечает он.
Но нет контакта. Рвет разряд грозный
два лебединых, два любовных зова...

Веселин Ханчев

(1919—1966)

БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕКЕ

Один пробирался он в снежном лесу
две ночи во мгле и в тумане.

Сказал ему лес: «Я тебя не спасу.
Пойми же, ты гибнешь, ты ранен.
Далеко отряд. Ни жилья, ни пути.
Отсюда уйти и не пробуй».

Был глух человек, продолжая ползти
в снегу, от сугроба к сугробу.

И лес говорил: «Покорился бы ты.
Не тратил бы даром усилия.
Взгляни, даже голубь упал с высоты.
И птички осилил я крылья.
Смирись же. Ведь рана твоя глубока.
Взгляни на озябшую птаху».

Но со снегу взял человек голубка
и спрятал его под рубаху.

Он кровью горячей его отогрел.
Тот ожил, воспрянул, встряхнулся,
крылами взмахнул и туда полетел,
куда человек не вернулся.

НЕ ДОЛЖНО!

Нет, не смеет кончиться до срока
то, что и не начинало жить.
Мысли, что оборваны жестоко, —
вас должны другие подхватить.
Корабли должны к земле добраться
издали, из глубины морей.
Не должны дороги прерываться
линией окопов и траншей.

Нет, не должен дом стоять без крыши,
жалуясь напрасно небесам.
Письма, что кому-то кто-то пишет, —
вы должны дойти по адресам.

Должен день окончиться закатом,
должен в очагах пылать огонь,
хлеб не должен сохнуть непечатым
и завянуть — девичья ладонь.
Дайте людям дописать страницы,
кончить книгу, виноград убрать.

Не успевшее еще родиться
не должно до срока умирать.

ТЯНУТ СЕТИ

Тянут, тянут сети. Мокрый песок.
Тянут, тянут сети. Мокрый канат.
Десять пар рук, десять пар ног.
Вытащат все море, если захотят.

Вытащат цветастое платье для меня,
то, что обещал еще в прошлом году.
Вытащат хлебушка, соли и огня.
Вытащат ласки — я их долго жду.

Вытащат картонного лихого жеребца —
белая грива, черные копытца.
Вытащат песню, чтоб спеть до конца,
а потом губами в губы впиться.

Вытащат парус, кисет с табаком,
чтобы отогреться — чарку ракии,
тишины немного, звезду за окном,
чтоб уснуть с устатку крепким сном.
Тянут, тянут сети... Вот они какие!

Тяжелые сети! Мокрый песок...
Полные сети! Мокрый канат...
Десять пар рук, десять пар ног...
Вытянут все море, если захотят.

ПЕРЕД ПУСТОЙ ЛОДКОЙ

После бури грозной и короткой
лодку принесло издалека.
И стоим мы над пустою лодкой,
где ни паруса, ни рыбака.

Мы стоим над ней, как над могилой,
скинув шапки. В берег бьет прибой.
Налетает ветер с новой силой,
рыбаку поет за упокой.

С богом, брат! Прощай! Морская пена
брошена на гальку, как венок.
И уходит утренняя смена
вдаль, откуда он прийти не смог.

ПЕРСТЕНЬ

За тихий праздник твоего прихода,
что до сих пор звучит во мне, как гром,
за все, что взял, чего назад не отдал,
за то, что мы вдвоем и не вдвоем,
за те слова, которые сдержала,
за ласки, что сдержать ты не могла,
за силы те, что мне ты отдавала,
когда сама бессильною была,
за то, что ты дала мое простое имя
всем дням своим, хорошим и плохим,
сжимаю палец твой горячими, сухими
губами, а не перстнем золотым.

ПОКА ШЕЛ ПОЕЗД

Я шел холмом среди горячих трав.
Вокруг меня
черешни, в мыльной пене,
купались в струях голубого неба.
В цветах играли ветерки и пчелы,
и облако качалось над холмом.
Не облако, пожалуй, а перо,
упавшее из птичьего крыла.

Внизу шел поезд, тяжело пыхтя,
невидимый за купами черешен,
и только лишь гудок его веселый
добрался до меня и до вершины.

Наверно, вышел стрелочник с флажком
и встал у будки.
Может быть, ребенок
глядит из-за оранжевых настурций
и машет из окошка.
И женщина, доящая козу,
задумчиво глядит вослед вагонам.

Состав прошел,
оставив только дым
и больше ничего.
Среди деревьев белых
неторопливо вырос черный гриб
в большой и старомодной мягкой шляпе.

Забавный гриб.
Есть у него двойник.
Он тоже вырос где-то на земле —
его двойник, смертельно ядовитый.

Вокруг меня бежали вверх черешни,
но я увидел вдруг на ясном небе
их черные скелеты.
Листья бились,
и гасли, и стихали, как сердца.

Последние на свете поезда
гремели, нагруженные молчаньем,
и пронеслись мимо вдруг увядших
настурций и детей,
и мимо коз
со смертоносным выменем,
и мимо
обуглившихся рук,
пылающих флажков,
сигналящих о том, что путь открыт,
что путь свободен в направлении Смерти.

Летели тени,
выпрямлялись травы,
чтобы меня обжечь.
Гудели пчелы,
и ударялись о мое лицо,
и падали,
а ядовитый мед
стекал к моим губам,
раскрывшимся для крика.

Но крика не было —
я был росой,
чуть видной струйкой дыма,
мертвой клеткой,
вернувшейся во глубину веков,
назад, назад на миллион столетий.
Я снова падал,
снова поднимался
и вновь сливался с облаком —
тем самым,
откуда вышел я,
и снова слышал
рев динозавров.

Берегитесь, люди!

Нет, это был не голос паровоза,
а голос сердца,
сердца моего.
С холма кричало сердце над землею,
над всей землею.

Берегитесь, люди!

В прозрачном небе облако качалось,
как перышко,
оброненное птицей.

Из югославских поэтов

Десанка Максимович

(Род. в 1898 г.)

ЧЕЛОВЕК

Птицу малую я знала в детстве.
Сердце было у нее с орешек.
Лес родной, гнездо лесное
люди у нее отняли,
и она на третье утро
умерла с печали.

Вспоминаю старую собаку
с грустными глазами.
Околеть от лютого страданья
силы у нее достало
вслед за тем, когда руки любимой,
что кормила, била и ласкала,
на земле не стало.

А вот я пережила, однако,
смерть людей любимых
и друзей немало потеряла
в океанах мрака.
Клевета, предательство, разлука, —
я пережила все это

и живу, и хочется мне снова
солнечного света.

* * *

Когда промчится ваша юность, птицы,
что делаете вы, дрозды, овсянки и синицы?
Ты, жаворонок, что устал бороться с вышиной?
Что зяблик делает под августовским светом,
когда приходит срок прощаться с летом
и пенье птиц заглушено поющей тишиной?

Почуяв аромат снегов, дыхание мороза,
услышав осени шаги, что делают леса?
Что делаете, тополя, что делаешь, береза,
когда минует лето, и слышен ветра свист,
и по ветру кружится ваш первый желтый лист,
и облака над вами плывут, как паруса?

Когда в хрустальной синеве летают паутинки,
что делаете вы, поля, луга, покосы,
когда колючий иней все одел,
когда в железную броню закованы травинки,
и стали искристым ледком сверкающие росы,
и в изгороди ломонос внезапно поседел?

Когда от северных высот за южные отроги
подует ветер ледяной, что делает вода,
когда стихают подо льдом порывы и тревоги,
когда потока синева
внезапно вянет, как трава,
и цепенеет пульс, и плеск смолкает навсегда?

ОТКЛИКНУЛИСЬ ТОЛЬКО ПТИЦЫ

В полный голос на помощь звала я.
Только птицы откликнулись мне
и слетелись с вершин и высот.

Может быть, им послышалось: горлица
загрустила о чем-то с весной,
может статься, на жалобу ласточки,
может быть, на волнение зяблика,
показалось им, крик мой похож.
Может, добрые птахи подумали —
птицу певчую ястреб когтит.

Только птицы на зов мой откликнулись
и на грудь мне слетелись испуганно,
как в гнездо, что пылает в огне.
Может, сердце мое они приняли
за птенца, что пожаром объят?

СНЕГА ДЕТСТВА

Снег детства моего! Ты все во мне живешь,
ты греешь сердце мне сугробами своими;
как подо льдом река, журчит оно под ними
и дышит и в мороз живою теплотой.
Все, что ты некогда ласкал своей рукою
и мельницы своей осыпал серебром,
все стало красотой моей, моим добром.
Шипы боярышника сделал ты лучами,
предметам темным светлую дал тень,

грязь на дорогах серебром сковал,
в воловий след кусок опала вправил,
крик ворона стал звуком бубенцов,
а завыванье волка — колыбельной.
Упавший на сугроб холодный лунный свет
ты превратил в рассвет голубоватый.
Мне родина в твоей обложке светлой
как в полночь зимнюю рассказанная сказка.

Вы, зимы детства, словно белый пчельник,
лесная пасека, где в старых дуплах соты.
Я до сих пор припоминаю запах
тех ледяных цветов на утреннем окне.
Еще я помню синий мак луны,
в час сумерек цветущий на сугробе.
Еще я помню снежные сирени,
засыпавшие дальние вершины,
поляну, белую от анемонов,
и аромат, с утра напоминавший
о первоцветах, скрытых под снегами,
и, как печаль, горчащее немного
февральских папоротников дыханье.
А соты в ульях все еще белеют
и золотом отблескивают глухо.

Ты, детства моего зима, в плаще зеленом,
с луной, в груди стучащей вместо сердца,
ты, поцелуй мороза и тумана,
ты, облака томленье по березе,
объятья рек и северных ветров,
крик журавля, бросающийся вдаль
с забвением живого человека;

ты, белая смущенная снежинка, —
роняешь ты серебряные слезы,
колотится луна в твоей груди
и потому-то падаешь ты наземь;
ты, радуга, — ты из семи цветов,
ты детства моего зима, ты тройка снов
ты пронеслась по санному пути,
тебя в туманах больше не найти.

Зима, старейшая из чародеек,
склоненная над старым очагом,
облитым синим пеплом лунной ночи,
доныне слышу, как ты в час рассвета
мешаешь догоревший снежный уголь.
Чем больше будет в старом очаге
хрустального и ледяного жара,
тем больше снов, которых и весне
невмочь распутать и смотать в клубки,
тем больше звезд в источнике студеном
и золотых монет на дне колодца.
Чем больше искр летит из очага,
тем больше пламени в груди поэта,
тем больше сильных крыльев райской птицы,
тем шире мира вечного границы.
Ты до сих пор, когда я прохожу
через твои белейшие просторы,
утихший жар души моей мешаешь
и будишь в ней охапку искр и звезд
и дремлющую горлицу печали.

Ты, детства моего зима — колдунья,
ты спишь ночами на косматых тучах,

ты за собою водишь стаи волчьи
и с белыми медведями играешь,
как будто это смиренные ягнята;
ты оглашаешься в одну минуту
собачьим лаем, щебетом синиц;
ты щедро сыплешь с неба наземь манну
для птиц земных и для души поэта,
и держишь ты в одной и той же клетке
и воронье и стаи голубей.
Одной рукой ты водишь корабли,
груженные прозрачной тишиною,
другой рукою — расписные санки
с крыжовником поющих бубенцов.
Цветы из льда растись ты в лунном свете,
так преврати же сумрак в праздник снов —
пусть вновь меня засыплют их пушинки,
затеpli снова под стрехой сосульки
и маленькие тусклые окошки
вновь сделай лебедиными крылами.

* * *

С чего ты мне снова напомнило, небо,
о тех позабытых давно первоцветах
в лесу, где дымилась весна?
С чего ты мне снова напомнило, небо,
что я твоего была света и нрава,
что я, как земля, хорошела от солнца,
что некогда, перед единственным взглядом,
как будто бы утром, весной, над рекою
стаяла взволнованно я?
С чего ты глядишь на меня,
почему не опустишь ресницы?

Из румынских поэтов

Магда Исанос

(1916 — 1944)

КАК УХОДИЛИ ЛЮДИ НА ВОЙНУ

Как уходили люди на войну,
я тоже видела.
Крестьянские ребята — новобранцы
грузились, полуголые, в теплушки
и глухо пели всё одно и то же
и заслоняли летнюю зарю —
так много было их.
Вот я и говорю,
что эти парни не пришли обратно
и проросли пшеницею и рожью
в полях России.
В то время дома
гуляли гордо подлость и бесстыдство.
А те ребята даже и не знали,
за что и за кого они погибли
в этой дали.
То был простой народ,
что попросту растет,
как травы, над землею, из земли.

Где их глаза, глядящие вперед?
О боже, где их золотые руки?
Хоть командиры бы сочли
могилы и калек.
Когда крепчает ветер,
мне чудится: я слышу вдоль дорог
и пение, и слитный топот ног.
То из России мертвые сюда
идут судить тебя, свиное рыло,
которое война озолотила.
И ты дрожишь. Ну что ж, дрожи и слушай!
Подходит день последнего суда.

Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ...

С белыми березами, с дубами
и они произрастают рядом...
Что же они горбятся так быстро?
Я не понимаю, почему?
Почему свой взгляд — не понимаю —
опускают в землю, словно звери?

Люди, встаньте и расправьте плечи!

Вы, которые без птичьих крыльев
научились подниматься в небо,
пальцами короткими своими
изменяющие путь дождей,
след червя читающие, словно
вести из промчавшихся столетий,

почему вы умирать согласны
в унижении и в нищете?

Люди, отправляйтесь в путь-дорогу!
Будьте, как весенние потоки,
как они, пускайтесь, люди, в путь!
Знаю я: вы не боитесь смерти,
смерть вам служит лучшей похвалою.
Что же вы стоите без движенья?
Если б я могла своею смертью
ваш поход к грядущему ускорить,
я бы поспешила.
Вот кинжал!
Я готова.
Дайте, люди, знамя!

Я БЫЛА ДАЛЕКА ОТ ЛЮДЕЙ

Жила я долго от людей вдали,
на острове засушливом томилась.
Бог, обернувшись голубем, порою
один лишь достигал моей земли.

И ничего понять я не могла тогда
вокруг себя. Душа моя была
глуха, подслеповата и мала.
Но тут пришла народная беда,
заговорила попросту со мною.
И сердце одинокое мое
проснулось и заплакало. Война

Пошла косить живую жизнь вокруг.
Над городом вознесся черный флаг,
и освещался непроглядный мрак
сполохами зловещего огня.
И дети умирали в час игры,
и матери горящими глазами
смотрели на меня.
У них война украла сыновей.
Мои стихи о звездах и цветах
писать мне стало стыдно,
и услышала я в своих мечтах,
взволнованных, как море или небо,
как сердце человечества стучит:
«Мы просим справедливости и хлеба!»

Братание материков и рас
я видела и торопила время:
«Приди скорее, долгожданный час!»
Я видела, как таяли туманы,
день мира над землею восходил,
И все народы на земле, все страны
мир начинали строить с основания,
такой большой, где никакое имя
не делалось великим непомерно.

Между двумя полярными кругами
лежит привольно родина моя.
Экватор — только путь, что по земле проходит,
ее на половины не деля.
Под ярким светом Южного Креста,
на всех долготах и на всех широтах,
земля повсюду — родина моя...

Так, в страшном мире, обагрённом кровью,
мечтала я, средь дыма и огня.
И неустанно в сердце у меня
росла надежда заодно с любовью.
И, движимая той любовью к людям,
я научилась понимать и слышать...

Из турецких поэтов

Назым Хикмет

(1902 — 1963)

ЗОЯ

В сорок первом году,
в первые дни декабря,
под Москвою,
 в селе Петрищеве,
 возле города Вереи,
когда занялся синий, как снег, рассвет,
немцы повесили девушку восемнадцати лет,
имя которой осталось для них неизвестно.
Девушка в эти года — утренняя звезда, невеста.
Одной невесты на свете нет.
Ее повесили.

Эта девушка
росла и училась в Москве,
была комсомолкой,
ушла на войну партизанкой.
Единственной правде,
 великому делу
 поверило сердце девичье.
Красивая девушка, с нежною шеей,
повешенная врагом,

была человеком во всем его несравненном
величье.

Словно листая «Войну и мир»,
в снегу и во мраке шарят ладони,
человеческие руки, созданные для нежности и
труда.

В Петрищеве пылают конюшни, —
жаль, что там были не солдаты,
а кони, —

перерезаны телефонные провода.

Это было вчера,

а сегодня

на свете — мороз,

на земле — снега.

Девушка лежит в заснеженном кювете
у оружейных складов врага.

В небе — звезды.

В сердце — гнев.

В бутылке — горячее.

Спички... Вот они, тут.

Небо сегодня какое!

Чиркнуть спичкой... взмахнуть рукою...

Но спичка не вспыхнула,

не успела подняться рука...

Навалились!

Набросились!

По снегу волокут...

Ах, какое звездное небо!

На столе самовар кипит,

на скатерти:

револьвер, пять ремней, недоеденная колбаса,

недопитый коньяк и огрызки хлеба.
Офицеры на девушку глядят во все глаза.

Вот стоит она, красная партизанка,
поверх ватных брюк сыромятный армейский тулуп,
за плечами походный мешок, на голове ушанка,
сдвинуты брови, упрямая складка у губ.
Как нежны эти два лепестка, но они не пойдут на
уступки.

Ни за что! Никогда!
О миндалине нежная в грубой скорлупке,
как ты попала сюда?

Выгнали в кухню хозяев дома, —
женщина, мальчик, старик,
красный огонь очага.
Сидят они, тесно прижавшись друг к другу,
словно отрезанные от мира
на одинокой горе, окруженной хищным зверьем,
и, как раскаты ночного грома,
над ними гремит голос врага.
Спрашивают.
Она отвечает: «Не знаю!»
Спрашивают.
«Нет», — раздается в ответ.
Спрашивают.
«Не скажу!» — она отвечает.
Нет. Не скажу. Не знаю.
Три выраженья. Три слова.
Другие слова забыты. Других слов нет.

Такой прямоты
бывает лишь кратчайшая линия между двумя
точками.

Такой чистоты
бывают лишь новорожденные дети.
Удар за ударом...
Как змеи, дерзнувшие прыгнуть к солнцу,
свистят и падают плети,
свистят и падают плети.

Молодой офицерик выскочил в темный закут,
свалился на лавку, уши заткнул, зажмурил глаза,
так и остался сидеть на месте.
А за стеной плети свистят: бьют.
Мальчик хозяйский считает удары:
сто,
сто пятьдесят,
двести.

Вновь начинают допрос.
Она отвечает: «Не знаю».
Спрашивают опять.
«Нет», — раздается в ответ.
Опять задают вопрос.
«Не скажу!» — она отвечает.
Другие слова забыты.
Других слов нет.

Голос ее, красивый и гордый,
но уже не звонкий, не чистый,
словно прижатый к стене кулаком.
Из избы на мороз выгоняли ее фашисты,

но однажды, как будто немецким штыком,
беспощадная память кольнет его душу,
в летний ли полдень, в весеннюю ночь ли
сердце остудит:
ноги босые девичьи идут по снегам и по
звездам —
по снегам и по звездам партизанка идет
босиком.

Одинокая улица
в снегу от края до края.
Партизанка в девичьей сорочке,
босая. Руки связаны за спиной,
под фашистским штыком —
взад-вперед, взад-вперед,
пока конвоир не озябнет,
погреться пока не захочет.
Войдут они в дом, конвоир обогрется — снова на
улицу:
взад-вперед, взад-вперед,
по снегам и по звездам,
от двадцати двух и до двух часов ночи.

Поздней ночью ввели ее в дом.
Конвоиры сменились, осталась одна партизанка,
лежит без движенья на лавке.
Ей восемнадцать лет,
скоро ее убьют,
и она это знает.
(Но умереть или быть убитой —
не все ли равно для того, кто так ненавидит?
Она была так молода и здорова,
что не боялась смерти и не ведала грусти.)

Когда это было? Когда?
Она слышит свой хриплый голос, гордо вставший
перед врагами.

Он говорит: «Не знаю».

Он говорит: «Не скажу».

Он говорит: «Нет».

И чтобы ни слова правды врагам не поведать,
он даже имя чужое произносит в ответ.

Зоей звали ее,
но врагам назвалась она Таней.

Таня!

Во мраке бурской тюрьмы
лежит предо мною твоя фотография,

Таня!

Ты, наверно, не знала, что есть на земле тюрьма
Бурсы,

Таня!

Бурса — зеленый цветущий край,
но Бурсы тюрьма душна и угрюма,
но в этой тюрьме лежит предо мною
твоя фотография,

Таня!

Но сегодня не сорок первый год,
сегодня

год на земле сорок пятый.

Не у ворот Москвы —

у Бранденбургских ворот

бьются твои,

бьются мои,

бьются честные люди мира,

нашей великой правды солдаты.

Таня!
Я люблю свою родину так же, как ты.
Я — турок,
ты — русская,
мы — коммунисты.

Таня!
Тебя повесили за твою любовь,
меня заточили в тюрьму за мою любовь,
но я живу, а ты умерла.
Как недолго ты побыла на земле!
Как недолго ты видела солнечный свет!
Всего восемнадцать лет!

Таня!
Ты — партизанка, повешенная врагом,
я — заключенный в тюрьму поэт,
но между нами преграды нет!
Ты — дочка моя,
ты — товарищ мой,
пред тобою склоняюсь я головой.

Таня!
Как красиво изогнуты брови твои!
Словно две миндалины очи твои.
Но какого цвета они — не понять
по твоей фотографии,

Таня.
Я читал: они карие, очи твои.
Кареглазых много в стране моей.
Твои темные волосы не длинней,
чем у Мемеда, мальчика моего,
Таня.
Как широк твой лоб —

Точно лунный свет.
Как прекрасно лицо твое продолговатое!
А открытые уши, пожалуй, могли быть поменьше.
Как нежна твоя шея, совсем еще детская шея!
Ни одна мужская рука не обвивала ее ни разу.
На ней не петля, не веревка,
на ней ожерелье.
Какая ты хрупкая, Таня!

Я товарищей кликнул,
они поспешили ко мне.
Говорят негромко,
разглядывая твой портрет:
 «У меня дочь ее лет».
 «У меня сестра ее лет».
 «У меня жена ее лет».
Девушки рано выходят замуж
в нашей жаркой стране,
Таня!

Наши подруги на фабрике, в поле и в школе —
это сверстницы Тани.
Таня, ты умерла.
Сколько честных погибло в борьбе!
Таня, Таня, мне стыдно, позволь мне признаться
тебе:
я семь лет не воюю, семь лет я в неволе —
и все еще жив.

Утром подняли Таню, кое-как приодели...
(Немцы валенки взяли, пропали тулуп и ушанка.)
Ей на шею повесили бутылки с горючим,

на плечи надели походный мешок,
снарядили в последний путь.
На доске написали мелом:

ПАРТИЗАНКА

и повесили ей на грудь.
Двери настезь!

Улица солнечна и бела.
Немцы сгоняют крестьян прикладами,
верховые со всех сторон.
Вот она, виселица, на площади в центре села.
Поставлены друг на друга два ящика из-под

макарон,
над ними качается веревка намыленная, завязанная
петлей...

Офицер, любитель-фотограф, наводит свой аппарат.
Втащили Таню на ящики — руки связаны за спиной.
Стоит она прямо-прямо, над головой петля.
Насколько ты стала выше...

Солнце еще за пеленой.
Как хорошо ей видно тебя, родная земля!
Накинули петлю на красивую шею,
она оттянула ее рукою —
еще немного пожить!

Люди, люди кругом...
«Товарищи, выше голову! Не давайте фашистам
покоя!
Убивайте, жгите, громите, воюйте с врагом!»

Фашист ударил ее в лицо,
кровь хлынула из губ опаленных,
и слова полились, горячие, как кровь:

«Всех не перевешаете!
Мы победим!
Нас много!
Нас двести миллионов!»
Содрогнулась толпа...
Чей-то сдавленный стон,
чей-то плач...

Солнце хлынуло ярче, земля хорошеет."
Родная земля...
Натянул веревку палач.
Задыхается девушка с лебединою шеей.
До свиданья, прощай, начало чудесного дня!
Привстала она на носки, подалась вперед.
«Прощайте, товарищи, не оплакивайте меня!
Это счастье — умереть за свой народ!»

Огромный солдатский сапог выбил ящики из-под ног.
Взметнулось и закачалось молодое, сильное тело.
Как сигнал к наступлению,
как весть о грядущей победе,
как символ бессмертия,
оно над землей взлетело.

СОДЕРЖАНИЕ

«Людам надо помогать любить друг друга». *А. Турков*

Из французских поэтов

АРАГОН

Из книги «Неоконченный роман»

На Новом мосту я повстречал...	19
Чары молодости	21
Глубокое дыхание	24
Маргарита, Мадлена, Мари...	27
Вечерние одежды на рассвете...	28
На небе суета, как на большой охоте...	31
В то время был я одинок	33
Садовники просеивают кости...	36
Итак, через Велль опять...	38
Лежит бутылка у креста...	39
Пивная. Немецкое чудо	40
Обо всем напрямик...	43
Слово «жизнь»	45
Падать, падать, падать что есть силы...	50
Это только одна сторона истории...	51

Огромный мир	53
Как ни меняйте кругозор...	53
Italia mea	55
Старый человек	56
Любовь, которая не только слово	59
Ты подняла меня, как камешек на пляже...	61
Эта жизнь — наша	62
Разорванные страницы	65
...Все рухнуло! Надежды, планы...	67
...О август сорок четвертого!	68

Из книги «Эльза»

Настанет, Эльза, день	69
---------------------------------	----

И з ч и л и й с к и х п о э т о в

ПАБЛО НЕРУДА

Из книги «Сто сонетов о любви»

II. Любовь, как долг путь до поцелуя...	72
V. Не касайся ночи...	73
VI. В чаще лесной...	73
VIII. Если б глаза твои...	74
IX. Удар волны в непримиримый камень...	75
XIII. Свет, который от ног поднимается...	75
XIV. Где время взять...	76

Предлагаю закрыть заседание	104
Монолог индивидуума	104
Чуйко и дамахуана	109

Из болгарских поэтов

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Зимнее утро	111
Рождество 1942	112
Тревожная весна	113
Без вести	114
В снегах	115
Звезды	116
Мост	116
Век и мы	118

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ

Погожей осенью. (Три отрывка из поэмы) . . .	119
...По склону Витоши клубится мгла	119
...Дни давние, ушедшие назад!	125
...Да, я уверен, что любой из нас...	130

ВЕСЕЛИИ ХАНЧЕВ

Баллада о человеке	137
Не должно!	138

Тянут сети	139
Перед пустой лодкой	140
Перстень	140
Пока шел поезд	141

Из югославских поэтов

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

Человек	144
Когда прочитается ваша юность, птицы...	145
Откликнулись только птицы	146
Снега детства	146
С чего ты мне снова напомнило, небо...	149

Из румынских поэтов

МАГДА ИСАНОС

Как уходили люди на войну	150
Я не могу понять, почему...	151
Я была далека от людей	152

МИХАЙ БЕНЮК

Живая вода	155
----------------------	-----

Из турецких поэтов

НАЗЫМ ХИКМЕТ

Зоя 156

ОГРОМНЫЙ МИР

Редактор *Б. Шуплецов*

Художественный редактор *А. Куццов*

Технический редактор *А. Фирсова*

Корректор *Л. Поль*

Сдано в производство 10/VII 1967 г.

Подписано к печати 5/II 1968 г.

Бумага $70 \times 108^{1/32} = 2^{3/4}$ бум. л.

7,7 печ. л. Уч.-изд. л. 5,80

Изд. № 12/7355. Цена 60 коп. Зак. 272

Издательство «Прогресс»

Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Московская типография № 20

Главполиграфпрома Комитета по печати

при Совете Министров СССР

Москва, 1-й Рижский пер., 2